

ФИЛОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выходит четыре раза в год

№ 1

2012



Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2012

Учредители

Алтайский государственный университет
Алтайская государственная педагогическая академия
Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина
Горно-Алтайский государственный университет

Редакционный совет

О.В. Александрова (Москва), К.В. Анисимов (Красноярск), Л.О. Бутакова (Омск), Т.Д. Венедиктова (Москва), Н.Л. Галеева (Тверь), Л.М. Геллер (Швейцария, Лозанна), О.М. Гончарова (Санкт-Петербург), Т.М. Григорьева (Красноярск), Е.Г. Елина (Саратов), Л.И. Журова (Новосибирск), Г.С. Зайцева (Нижний Новгород), Е.Ю. Иванова (Санкт-Петербург), Ю. Левинг (Канада, Галифакс), П.А. Лекант (Москва), О.Т. Молчанова (Польша, Щецин), В.П. Никишаева (Бийск), В.А. Пищальникова (Москва), О.Г. Ревзина (Москва), В.К. Сигов (Москва), М.Ю. Сидорова (Москва), И.В. Силантьев (Новосибирск), Ф.М. Хисамова (Казань)

Главный редактор

А.А. Чувакин

Редакционная коллегия

Н.А. Гузь (зам. главного редактора по литературоведению и фольклористике), С.А. Добричев, Н.М. Киндикова, Л.А. Козлова (зам. главного редактора по лингвистике), Г.П. Козубовская, А.И. Куляпин, В.Д. Мансурова, И.В. Рогозина, А.Т. Тыбыкова, Л.И. Шелепова, М.Г. Шкуропацкая

Секретариат

Т.Н. Василенко, М.П. Чочкина

Адрес редакции: 656049 г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет, филологический факультет, оф. 405-а.
Тел./Факс: 8 (3852) 366384. E-mail: sovet01@filo.asu.ru

ISSN 1992-7940

© Издательство Алтайского государственного университета, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

П.В. Маркина. Парадигма «Петербург – Петроград – Ленинград» М.М. Зощенко.....	7
Т.В. Федосова. Репрезентация времени в постмодернистском дискурсе.....	18
Г.В. Кучумова. Немецкоязычный роман 1980-2000 годов : новые формулы неспешности.....	28
И.К. Феоктистова. «Легенда о Лиханове» в сборниках А.А. Мисюрева : мифологические мотивы образа народного заступника.....	40
М.А. Демчинова. Собрание и изучение алтайских народных песен.....	52
Е.Ф. Нечаева. Оппозиция «Я – Другой» как лингвофилософская проблема.....	63
М.К. Тимофеева. Однозначные тексты с двойственной семантикой.....	72
Н.М. Татарникова. Анализ коммуникативных стратегий как способ изучения стилевой черты.....	84
Е.Н. Батурина. Особенности повествовательной структуры и контекстные репрезентации концепта ЧЕЛОВЕК в повести «Белые ночи» Ф.М. Достоевского.....	96
Т.Ф. Извекова. Место ключевых концептов языка в формировании национального сознания и особенности их функционирования в художественном дискурсе.....	109
В.Н. Карпухина. Аксиологический аспект исследования перевода как творческого процесса.....	116
Е.И. Роголева. Контекстуальная семантизация фразеологизмов в учебном словаре.....	126

Научные сообщения

С.А. Свиридов. Художественная гипнология в романах И.С. Тургенева : предсонье и сон.....	135
М.Р. Бобохонов. Психологические доминанты повести Тагая Мурада «Сумерки, когда заржал конь».....	141

О.В. Кошчева. Онтогенез коммуникативной компетенции : речежанровый аспект.....	147
Т.С. Бережная. Экспериментальное исследование восприятия поликодовых рекламных текстов прошлого современными носителями языка.....	153
И.В. Ахмадуллина. Полевые связи китайских недоговорок-иносказаний, содержащих лексический компонент 吃.....	160
А.Ф. Гайнутдинова. К вопросу о вариативности в использовании возвратного местоимения в современном русском языке (на материале художественной прозы XIX–XX веков).....	170

Филология и образование

А.А. Чувакин. Прикладная филология. Примерная программа учебной дисциплины (Для профиля «Прикладная филология»).....	178
--	-----

Критика и библиография

Л.О. Бутакова. Рецензия на учебное пособие Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комисарова, Н.В. Панченко, А.А. Чувакин «Теория текста». Под ред. А.А. Чувакина. 2-е изд. перераб. и доп. М.: «Флинта : Наука», 2010. 224 с.....	183
Резюме	187
Наши авторы	194

CONTENTS

Articles

P.V. Markina. Paradigm «Petersburg – Petrograd – Leningrad» of M.M. Zoshchenko.....	7
T.V. Fedosova. Representation of Time in Postmodern Literature.....	18
G.V. Kuchumova. German Language Novel of 1980–2000 : New Formulae of Deliberateness.....	28
I.K. Feoktistova. “The Legend of Likhanov” in Collections by A.A. Misurev : Mythological Motifs of an Image of the National Defender.....	40
M.A. Demchinova. The Collection and Study of Altai Folk Songs.....	52
E.F. Nechaeva. Opposition “I – The Other” as Linguistic- Philosophical Problem.....	63
M.K. Timofeeva. Unambiguous Texts with Twofold Semantics.....	72
N.M. Tatarnikova. Analysis of Communicative Strategies as Method of Study of Stylistic Feature.....	84
E.N. Baturina. The Peculiarities of the Narrative Structure and the Contextual Representations of the Concept of a	96
T.F. Izvekova. The Place of Key Linguistic Concepts in the Formation of National Consciousness and the Particularities of their Functioning in a Fiction Discourse.....	109
V.N. Karpuhina. The Axiology of Translation as a Creative Activity.....	116
E.I. Rogalyova. Contextual Interpretation of Idioms in the Training Dictionary.....	126

Scientific reports

S.A. Sviridov. Artistic Hypnology in Novels by I.S. Turgenev : Predream and Dream.....	135
M.R. Bobohonov. Psychological Dominants of Tagay Murad’s Story «Twilight When the Horse has Begun to Neigh».....	141

T.S. Berezhnaya. Experimental Research of the Perception

of the Advertising Polycode Texts of Past by Contemporary Native Russian Language Speakers.....	153
I.V. Akhmadullina. Field Relations of Chinese Xiehouyu Containing Lexical Component 吃.....	160
A.F. Gaynutdinova The Variant Use of the Reflexive Pronoun in the Modern Russian Language (based on the texts of Russian literature of the XIX–XX centuries).....	170

Problems of philological education

A.A. Chuvakin. Applied Philology. Approximate Programme of Educational Discipline (for the profile «Applied Philology»).....	178
--	-----

Critics and bibliography

L.O. Butakova. Review of educational manual by Yu.N. Zemskaya, I.Yu. Kachesova, L.M. Komissarova, N.V. Panchenko, A.A. Chuvakin «Text Theory». Ed. by A.A. Chuvakin. 2-nd edition. M.: Flinta : Nauka, 2010. 224 p.....	183
Summary	187
Our authors	194

СТАТЬИ

ПАРАДИГМА «ПЕТЕРБУРГ – ПЕТРОГРАД – ЛЕНИНГРАД» М.М. ЗОЩЕНКО

П.В. Маркина

Ключевые слова: М.М. Зощенко, литература 1920–1930-х годов, петербургский миф.

Keywords: M.M. Zoshchenko, the literature of 1920–1930th years, the Petersburg myth.

М.М. Зощенко родился в 1894 году в Петербурге – столице, получившей свое имя в честь святого апостола Петра. 18 (31) августа 1914 года она была переименована в Петроград – город императора, превращенный после смерти Ленина, 26 января 1924 года в Ленинград. В самих новых именовании намечается не только движение сверху вниз (от духовного, небесного к земному), но и от мирового, европейского к русскому и советскому.

Заявленная уже самой сменой названий городская мимикрия продолжает разрабатываемый русской литературой петербургский миф. Призрачное пространство удерживает парадигму отрицательных внутренних состояний: разочарования, одиночества, осознания ничтожности бытия, усталости, мучительности, болезненности, мнительности, бессилия, смятения, тоски и т.д. (см. подробнее наиболее употребительные элементы петербургского текста: [Топоров, 1995]). В автобиографии «О себе, об идеологии и еще кое о чем» М.М. Зощенко в таблице событий собственной жизни, перечисляя неудачи, отмечает: «самоубийством кончал – 2 раза» [Зощенко, 2008с, с. 103]. Автор и своим персонажам отдает собственные тревожность, уныние, апатию, мучение, надорванность сердца, страдание, страхи, депрессию. Факт повто-

ренного самоубийства, оставаясь знаком пережитого, служит постоянным напоминанием близости беды.

Известными характеристиками города являются фантазмагоричность, изменчивость, театральность. Ситуация нестабильности осложняется эпохой перемен, в которой город теряет не только свое название. Установлено, что «[у]трата Петербургом столичного статуса была закономерным и почти неизбежным следствием Октябрьской революции. Радикальные социальные преобразования, как правило, в первую очередь находят свое выражение в переоформлении социально-политического пространства» [Куляпин, Скубач, 2005, с. 8]. Кардинальная перекройка законов времени и пространства 1920-х годов вынуждала людей быть в курсе событий, следовать последним изменениям, противоположным привычному течению жизни. Внезапно возникающие трансформации хронотопа актуализировали противостояние центра и периферии, тоталитаризм задействовал центростремительные силы. Массы людей, меняя свое привычное место жительства, стремясь попасть в водоворот жизни, заполняли столицу. Это всеобщее стремление, иронически оцененное М.М. Зощенко, протекало в сопряжении с процессом отталкивания. Две пространственные модели – московизация и провинциализация [Паперный, 1996] – в своем структурном отношении восходят к единому противоречивому процессу, где «Москва-центризм» сочетается с «провинция-центризмом» [Куляпин, Скубач, 2005, с. 11].

В мнимой разделенности мира на столицу и провинцию М.М. Зощенко выбирает последнюю. Писатель в раннем творчестве пытается устранить функциональный дисбаланс Петербурга. Принимая во внимание то, что «[г]ород, как замкнутое пространство, может находиться в двояком отношении к окружающей его земле: он может быть не только изоморфен государству, но и олицетворять, быть им в некотором идеальном смысле <...>, но он может быть и его антитезой» [Лотман, 2002, с. 208], отметим, что советский мир, нейтрализуя противопоставленность бывшей столицы стране («Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия» [Гоголь, 1968, с. 99]), включает Ленинград в один общий ряд провинциальных городов.

В дневниках Е.С. Булгаковой (запись от 29 ноября 1936 года) отражена эта пугающая москвичей трансформация. Командированный в Ленинград М.А. Булгаков в два часа ночи позвонил по телефону и сказал, «[ч]то поездка неприятная, погода отвратительная, город в этот раз не нравится». И далее от 1 декабря: «Приехал. Ленинград произвел на

него удручающее впечатление (и на Мелика тоже). Публика какая-то обветшалая, провинциальная» [Булгаковы, 2001, с. 257].

В рассказе «Случай в провинции» (1924) М.М. Зощенко исследует миф, созданный людьми искусства, что Петербург и провинцию разделяет громадная пропасть, последняя непонятна столичным людям, пугает: «Он говорил, что только вчера приехал из Питера, не осмотрелся еще в этом городе и не свыкся с такой аудиторией» [Зощенко, 2008с, с. 652]. Литераторы и пианистка Маруся Грекова, гонимые голодом («Это было в 20-м или 21-м году <...> Хлеб был тогда чрезвычайно дорог <...> За фунт хлеба в Питере запрашивали два полотенца, три простыни или трехрядную гармонь» [Зощенко, 2008с, с. 647]), везут искусство в южные советские города. Музыкально-литературная программа из-за того, что публика принимает исполнителей за циркача-трансформатора, пользуется большим успехом. Зрителей трогает буффонада, а не салонное искусство, что обнаруживает несостоятельность культуры прошлого в новом советском мире. Гордыня выступающих, оставляющих за собой единоличное право на успех, толкает их на мифотворчество: «– Товарищи! – говорил имажинист. – Мы впервые в Советской России на верном пути. Мы сознательно снижаемся до масс, мы внедряемся в самую гущу. Этой программой мы докажем, что чистое искусство не пропадает. За нами стоит народ» [Зощенко, 2008с, с. 648].

Революция обнаружила в России существование двух рас, и путь дворянства оказался гибельным. Для того чтобы жить в новом мире, необходимо было кардинально перестроиться. Собственную периферийность столкнувшийся с первой славой автор подчеркивает уже после переноса столицы России из Петрограда в Москву (1918). Появляющиеся в текстах М.М. Зощенко анахронизмы названий города¹ актуализируют внестоличность пространства Ленинграда. Главная особенность жизни 1920-х годов заключается в том, что «ценности периферии становятся выше ценностей центра. И сознание людей, и сами эти люди устремляются в горизонтальном направлении от центра» [Паперный, 1996, с. 20]. М.М. Зощенко не совершает подобного движения, и в дальнейшем тотальном людском приливе в столицу уклоняется от переезда в Москву.

¹ Например, во время подготовки текста «М.П. Синягина» для издания «Зощенко Мих. Избранные повести» (Л.: Гослитиздат, 1936) автор по всему тексту меняет «Ленинград» на «Петроград» [Сухих, 2008, с. 598]. Такое соответствие принципам исторической конкретности доказывает, что для М.М. Зощенко анахронические переименования несут особый смысл.

Внимание к Москве обусловлено социальными процессами и петербургским текстом. Для многих советских писателей Москва становится желанным местом, где «только и можно жить» (М.А. Булгаков). Апофеозом централизации этого пространства является юбилейная (800-летие Москвы в 1947 году) речь Сталина, назвавшего Москву *образцом всех столиц мира* [Паперный, 1996, с. 109]. Обнаруживается тотальная гипертрофия Москвы: «осуществляя власть над периферией, столица вынуждена «транслировать» самое себя повсеместно» [Куляпин, Скубач, 2005, с. 11].

В этом аспекте жизнь и творчество М.М. Зощенко обнаруживают новый виток противостояния главных городов России. Петербургский миф всегда строился в оппозиции к Москве: «Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве все невесты, в Петербурге все женихи... Петербург – аккуратный человек, совершенный немец <...> Москва – русский дворянин <...> не любит середины» [Гоголь, 1968, с. 98]. В «Веселой жизни» М.М. Зощенко Петербург как место разгула более предпочтителен в выборе между двух городов: «Бросились тут люди в Петербург и в Москву... князь, поручик Мухин, в Петербурге, по кабакам ходит, кутит и в деньгах чересчур нуждается» [Зощенко, 2008с, с. 295]. В биографии автора таким местом становилась Москва (см. встречи с В.П. Катаевым и Ю.К. Олешей). Однако в споре столиц еще Н.В. Гоголем был обозначен третий «украинский» голос Киева.

М.М. Зощенко снимает прямую противопоставленность Москвы – Петербурга, добавляя в автобиографию новый город. Он меняет место рождения, разрывая даже в прошлом связи со столичностью (на момент рождения Петербург – главный город Российской империи). Однако в различных автобиографиях утверждается наряду с действительным и мифологизированное пространство рождения: «Я родился в Полтаве» («Автобиография») [Зощенко, 2008с, с. 104], «Я не знаю даже, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом – эдак. По-видимому, один из документов – «липа». Который из них «липа», угадать трудно, оба сделаны плохо» («О себе») [Зощенко, 2008с, с. 105], «Родился в Ленинграде (Петербурге)...» («Автобиография») [Зощенко, 2008с, с. 126], [Лицо и маска Михаила Зощенко, 1994, с. 13] (то же в «Возвращенной молодости»), «Родился в г. Полтаве» («Автобиография») [Зощенко, 2008с, с. 127].

На момент сотворения автобиографического мифа о рождении Петербург уже перестал быть Петроградом, приняв имя вождя мирового пролетариата. Упоминания родового хронотопа датируются концом

1920-х–1930-ми годами. К этому времени (прошло более десяти лет с момента перенесения столицы) Ленинград стал провинциальным городом. Наряду с реально существующими топосами, снимая оппозиционность двух городов, фигурирует Ленинград, которого не существовало в момент появления М.М. Зощенко на свет. Таким образом, писатель утверждает реальность советского в противоположность мнимости полтаво-петербургского трансформера.

В этом аспекте важен новый московский компонент. В основе идентификации родного топоса М.М. Зощенко сохраняет оппозиционность главных городов: «Ленинграду против Москвы нипочем не устоять. Уж очень Москва крупно шагает. Это прямо европейский город» («Кому что, кому ничего») [Зощенко, 2008*b*, с. 486]. Московский текст строится на вытеснении Ленинграда из модели петербургского мифа. Иронически осмысляются претензии столицы на роль европейского города: «То, знаете, они проект утвердили – будут скоро подземную дорогу строить. То пятиэтажный дом закончили. Так сказать, фантазию Уэллса превратили в действительность... вскоре московские трамваи будут отапливаться» [Зощенко, 2008*b*, с. 486].

Сопоставляя в «Приглашении в Ленинград» два города, М.М. Зощенко сетует на мнимость наличия в Ленинграде моря (оно вроде бы есть, но увидеть его нельзя): «сухопутные москвичи – и те заимели свое море. А тут оно где-то плещется под боком, а где – не видать» [Зощенко, 2008*a*, с. 378]. Москва отбирает у Ленинграда также и славу морского города.

Столица пытается существовать вне законов природы, изменяя привычные климатические условия: «Москва до чего быстро шагает. Прямо у нас, у ленинградских жителей, голова кружится <...> финиковые пальмы будут в Москве посажены. На бульварах <...> Мы, ленинградцы, прямо загрузили от такого сообщения. Все Москве и Москве. И пальмы Москве, и попугаи Москве <...> А только вот что. Из такой большой партии благородных деревьев прилично бы и нам хотя бы 200 пальм уделить. У нас, в Ленинграде, и климат мягче. У нас скорее пальмы привьются. И, может, даже начнут плоды давать – государству на пользу <...> А то в Москве чертовские морозы зимой бывают. Завянут же пальмы» («Что делается!») [Зощенко, 2008*b*, с. 523–524]. Неожиданно в новом мире суровость многолетнего режима погоды Петербурга, одну из основных географических характеристик города на Неве наследует не Ленинград, а Москва. Это не размежевывает полностью город, названный именем вождя, с петербургским мифом, так как мягкость климата ленинградского по

сравнению с московским продолжает теорию о райской избранности обозначенного места (условно «Ленинград-парадиз»).

Амбивалентность значений главного города связана теперь с Москвой. Добавляя к положительному столичному полю и негативный компонент, М.М. Зошенко продолжает развивать московский миф, ориентированный на петербургскую основу. Даже Ленинграду невозможно конкурировать с Москвой по тяжести климатических условий.

Столичность как определяющее мировоззрение понятие, меряющее по себе остальные жизненные события, маркирует не только центр, где все расположено, например, *Коммунистическая академия и Высший Совет Народного Хозяйства* (Ю.К. Олеша). «Столичность – это мода, вкус, приличие, тонкость, примеры, образы, авторитетность, – то есть концентрация всего того, что приписывает всей стране образ жизни и мыслей» [Олеша, 2006, с. 44].

Поэтому проблемы человеческой коммуникации должны стать первостепенными для Москвы, отвечающей за всю страну: «Вот тут, граждане, и разберись. Одно небольшое слово, а как понимают его в разных уездах! <...> А мы Ленинградского уезда, совсем от этого с толку сбились <...> А москвичи, например, не сбились <...> Вот оно как! <...> А чего думают про это слово в Дорогобуже – неизвестно. Скорей всего – ничего. Не дошло, небось, до них это слово. Ну, и к лучшему» («Насчет этики») [Зошенко, 2008b, с. 90].

В советском мире наблюдается функциональный дисбаланс: в пути по вектору от столицы к провинции семантика слов и нововведения движутся с инерционной скоростью, стремящейся к нулю. В результате ленинградский уезд становится если не блокиратором, то местом, до которого только и хватает московского посыла. В советском мире происходит ампутация компенсирующей составляющей: «[и]з двух обычных функций столицы – служить топосом власти и топосом культуры – за советской Москвой закрепляется только первая» [Куляпин, Скубач, 2005, с. 11].

Пространство столицы для М.М. Зошенко временное – это топос застолий и друзей (В.П. Катаева, Ю.К. Олеша): «В Москве успокоился сразу. Там у него много друзей – по крайней мере он верит, что они ему друзья – Ильинский, Валентин Катаев... Его встречали, провожали, устраивали в его честь вечера, катали на автомобиле» (В. Зошенко) [Михаил Зошенко. Материалы..., 1997, с. 73]; «Во время поездок в Москву Зошенко встречался с Валентином Катаевым и Юрием Олешей. Но если с первым находился в профессионально-приятельских отношениях, то с Олешей у Зошенко сложилась многолетняя сердечная

дружба <...> Дружба с Юрием Олешей – пристрастие Зощенко» [Зощенко, 1994, с. 22]. А.Е. Крученных, заканчивая письмо из Москвы в Ленинград к М.М. Зощенко, подписывает: «Горячий привет от В. Катаева. Ю. Олеша...» [Михаил Зощенко. Материалы..., 2002, с. 197]. Е.И. Журбина в своем письме к М.М. Зощенко, где мужская дружба становится предметом женской ревности, указывает: «Вы <...> сказали мне между прочим, что приехали «Ваши друзья» – Олеша и Катаев» [Михаил Зощенко. Материалы..., 2002, с. 153].

Когда М.М. Зощенко приезжает в Москву, то не стремится сразу оповестить всех о своем приезде и первое время скрывается от друзей. В.П. Катаев пишет об этом так: «У него были весьма скромные привычки. Приезжая изредка в Москву, он останавливался не в лучших гостиницах, а где-нибудь недалеко от вокзала и некоторое время не давал о себе знать, а сидел в номере и своим четким елизаветинским почерком без помарок писал один за другим несколько крошечных рассказиков, которые потом отвозил на трамвае в редакцию «Крокодила», после чего о его прибытии в Москву узнавали друзья» [Катаев, 1984, с. 201]. Само поведение в пространстве Москвы ритуализовано: друзья узнают о том, что ленинградский писатель в городе через публикацию его фельетонов.

Нахождение в этом месте делает из писателя мученика. В очередной приезд в столицу 27 августа 1938 года М.М. Зощенко писал Ольге Шепелевой: «Обедаю я в ресторане. Так что ежедневно вижу моего милого Олешу. И мы с ним часами сидим. С ним, кажется, нехорошо. Его жена мне вчера сказала, что «никакой пьесы у него не будет». Это почти катастрофа. И я не знаю, как ему помочь. Я его очень люблю и страдаю за него» [Зощенко, 1994, с. 14]. Пространство Москвы, провоцирующее писателей на соответствующее показное поведение (Ю.К. Олеша – князь «Националя»), быстро утомляло М. М. Зощенко: «Олеша меня несколько замучил с рестораном. А все остальное идет довольно обыкновенно» (от 29 октября 1938 года) [Зощенко, 1994, с. 18].

Зеркальная петербургской театрализация жизни неприемлема для живущего одиноко М.М. Зощенко. И если в родном городе он пытался, избегая зрителя и сценичности поведения, уйти в повседневности к простоте, то в столице чуждаться навязываемой роли пользующегося известностью литератора было невозможно. В этом аспекте могут быть объяснимы многочисленные отказы М.М. Зощенко от собственного остолочивания.

Переезд в Москву понимается писателем как поиск славы (тем более ненужный после 1946 года). М.М. Зощенко в письме к Л.Б. Островской от 21 сентября 1949 года пытается, оправдываясь, отказать от помощи, так как она связана с топографическими переменами: «Лилечка! <...> Приехал домой и заболел. Провалился несколько дней с гриппом. И теперь, поправившись, едва брожу. Подозреваю, что наступила старость <...> Решимости перебраться в Москву у меня пока нет. Как вы и полагали – привычный уклад жизни засосет меня, и я снова останусь на берегах Невы. Может быть, после болезни у меня вялые мысли и мало энергии. Но сейчас мне кажется, что переезд слишком сложен. И что мне искать в Москве, если у меня по-настоящему и нет стремления снова засиять на литературном небе! <...> Не браните меня за мою склонность к провинциальной жизни. Я ведь случайно прославился и не хотел бы снова этого. А жизнь в Москве – это все-таки поиск утраченного» [Михаил Зощенко в воспоминаниях современников, 1981, с. 246].

Пространство столицы для М.М. Зощенко неприятно притягательно. Передвижение в Москву поездом для его персонажей связано с обманом, авантюрой, заканчивается физическими травмами героев: падением с третьей полки, синяками на шею меняющей течение вокзального времени Али из «Перед восходом солнца», мжу которой было сообщено о мнимой подруге, опаздывающей в Москву. Здесь кроется амбивалентное отношение автора к гипотетическому собственному остолчиванию. Во всеобщей устремленности для М.М. Зощенко обозначился выход: негласное разрешение провинциальному сознанию выскальзывать из диктуемых столицей нововведений. Со временем, ощущая, что «вся страна должна стать Москвой» [Куляпин, Скубач, 2005, с. 13–14], М.М. Зощенко утверждает и ищет специфику Ленинграда, находящегося в оппозиции к другим городам.

Северное положение города обусловлено закономерным развитием национального менталитета: «Странный народ русский: была столица в Киеве – здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву – нет, и тут мало холода: подавай бог Петербург!» [Гоголь, 1968, с. 97]. В советском пространстве происходит обратное движение из Петербурга в Москву. Ленинград М.М. Зощенко, в отличие от Петербурга, перестает быть крайней северной точкой. В биографическом жизненном пространстве писателя север сопрягается с Архангельском, таящим угрозу.

Увлечение севером и Петербургом отличает молодость и приносит разочарование М.М. Зощенко, который из Архангельска в декабре

1917 года писал: «хорошо, что попал на Север. Ни тебя не трогают, ни ты никого не кусаешь. Вовсе провинциальная добродетель!» (Зошенко М.М. Е.О. Суриной) [Лицо и маска Михаила Зошенко, 1994, с. 22]. Впрочем, первое впечатление оказывается мнимым. «Здесь, на Севере, одинокая могила моей юности» (7 января 1918 года Зошенко М.М. В.В. Кербиц-Кербицкой) [Лицо и маска Михаила Зошенко, 1994, с. 24]. Депрессивные настроения, ощущение безысходности и неподвижности бытия сопряжены с пространством чужого города: «До сих пор нет у меня службы, и с Архангельском я ничем не связан, кроме белья, которое я отдал прачке <...> не деньги задерживают меня здесь. Я боюсь <...> Я стал какой-то Обломов. Нет ни энергии, ни воли <...> И не я, а судьба тянет меня куда-то. И кажется мне, что пройдет еще месяц – и если я не уеду, не убегу, то останусь здесь навсегда. О, это трагическое болото, этот Архангельск! <...> Я не узнаю себя за эти полгода. Я так изменился <...> Стал даже религиозен» (Зошенко М.М. Е.О. Суриной от 27 марта 1918 года) [Лицо и маска Михаила Зошенко, 1994, с. 24–25]. Юный М.М. Зошенко еще верит, что дорога может избавить его от тоски, как в это верил Н.В. Гоголь. К теории излечения дорогой писатель вернется в дальнейшем своем творчестве, а пока он уклоняется от эмиграции.

В конце марта М.М. Зошенко отвечает отказом на предложение полковника французского экспедиционного корпуса покинуть Россию. В «Возвращенной молодости» появляется француженка – гарант благонадежности писателя: «В сентября 1917 года я выехал в командировку в Архангельск <...> За несколько недель до прихода англичан я снова уехал в Ленинград. Был момент, когда из Архангельска хотел уехать за границу. Мне было предложено место на ледоколе. Одна влюбленная француженка достала мне во французском посольстве паспорт иностранного подданного <...> Однако в последний момент я передумал. И незадолго до занятия Архангельска успел выехать в Ленинград» [Лицо и маска Михаила Зошенко, 1994, с. 14]. Мистическим поощрением героического юношеского патриотизма становится разрешение вернуться в Петроград, полученное М.М. Зошенко 31 марта 1918 года.

Город на Неве задумывался как оппозиционный России европейский топос, но совпадение различных причин спровоцировали рождение особого (в том числе и внеевропейского) топоса. Уже у Н.В. Гоголя Петербург смотрит на Европу, но не видит ее [Гоголь, 1968, с. 98]. Однако в нетождественности пространств утверждается их неразрывная связь. Взаимное пристальное внимание пронизывает и прозу М.М. Зошенко, в которой на персонажей «вся Европа смотрит»

[Зощенко, 2008с, с. 385, 443]. У человека, вынужденного ожидать, «[ч]его скажут иностранцы» [Зощенко, 2008е, с. 521], устанавливаются особые жюльнические отношения с городом (см. «Мысли о красоте и благоустройстве города» в «Счастливых идеях» М. Зощенко и Н. Радлова: [Зощенко, 2008е, с. 520]).

Снимается бинарность (европейское/неевропейское) мира уже в автобиографии. Сотворение мифа о себе начинается с изменения места рождения. До сих пор некоторые справочные издания выдвигают две версии родового хронотопа писателя: Петербург 1894 и Полтава 1895. Второй вариант мнимого рождения целенаправленно внедрялся М.М. Зощенко в различные автобиографические справки: «Отец мой художник, мать – актриса. Это я к тому говорю, что в Полтаве есть еще Зошенки» («О себе, об идеологии и еще кое о чем») [Зощенко, 2008с, с. 101].

В воспоминаниях людей, хорошо его знавших, М.М. Зощенко предстает блестящим мистификатором, порождающим бесконечные споры об истинности собственного лица, окружающим казалось, словно они сами находят истолкование стержневых составляющих образа писателя. К. Чуковский видит объяснение образа аристократа-дворянина именно в специфике места рождения писателя: «Это был один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел. Ему едва исполнилось двадцать четыре года. Смуглый, чернобровый, невысокого роста, с аристократическими пальцами маленьких рук... Когда я узнал, что он родом полтавец, я понял, откуда у него эти круглые, украинские брови, это томное выражение лица, эта спокойная насмешливость, затаенная в темно-карих глазах. И произношение у него было по-южному мягкое, хотя, как я потом узнал, все его детство прошло в Петербурге» [Михаил Зощенко в воспоминаниях современников, 1981, с. 18]. В моменты душевного нездоровья происхождение может исчезать и снова возвращаться в минуты твердости духа. К. И. Чуковский 5 августа 1927 года оставит в дневнике следующую запись: «Поздоровел, стал красавец, обнаружились черные брови (хохлацкие) – и на всем лице спокойствие, словно он узнал какую-нб. великую истину» [Чуковский, 1991, с. 405]. «Полтавец» становится если не маской, то определенной манерой поведения. Так изменение в автобиографиях странства рождения частично связано с эдипальным комплексом: «Отец – из потомственных дворян, украинец. Мать – русская» («Автобиография») [Зощенко, 2008с, с. 127].

Полтава в автобиографии писателя появляется не случайно. Сам сдвиг из Петербурга в уездный город поднимет вопрос двойничества

двух городов. Связанные именем Петра I основание Санкт-Петербурга в 1703 году и Полтавское сражение 1709 году становятся знаками эпохи перемен. Однако первое событие имеет европейскую векторную устремленность, второе же являет собой торжество победы русского духа над главной военной мощью Старого Света.

Подобная дистанцированная европейская соотнесенность отличала позицию М.М. Зощенко, тесно связавшего свою жизнь с Ленинградом. Мимикрия города накладывает свой отпечаток на мировоззрение писателя. Рожденный в Петербурге, он всю жизнь доказывал собственную принадлежность к новому миру. Например, в августе 1946 года после доклада, жестко критикующего М.М. Зощенко, друзья предлагают опальному писателю смириться с давлением власть имущих и, отказавшись от собственного достоинства и индивидуальности, заявить, что он – советский человек и советский писатель: «А кто же я такой? – искренне удивился Зощенко. – Как это вдруг на старости лет, на пятьдесят втором году жизни, заявлять, что я советский? Никаким другом я не был за все годы!» [Слонимский, 1966, с. 168].

Таким образом, специфика главного для М.М. Зощенко пространства устанавливается в отношении со/противопоставления с другими городами страны. В отношении двойнических пар («Ленинград – Петроград», «Ленинград – Петербург/Питер», «Ленинград – Москва», «Ленинград – Полтава», «Ленинград – Архангельск» и т.д.) наблюдается установка на отрицание/отождествление. Ленинград в пространстве страны определяется М. М. Зощенко как не Москва, не Полтава, не Петербург и т. д. В то же время это новый советский провинциальный город, отрицающий связь с петербургским мифом и неизбежностью своего пространства, доказывающий сопряженность с ним.

Литература

- Булгаковы М. и Е. Роман нужно окончить... Дневник Е. Булгаковой и письма М.А. Булгакова // Булгаковы М. и Е. Дневник мастера и Маргариты. М., 2001.
- Гоголь Н.В. Петербургские записки 1836 года // Гоголь Н.В. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 4. М., 1968.
- Зощенко М.М. Жизнь выше всего : Письма Михаила Зощенко к Ольге Шепелевой 1938–39 годов // Звезда. 1994. № 8.
- Зощенко М.М. Личная жизнь : Рассказы и фельетоны (1932–1946) // Зощенко М.М. Собрание сочинений. М., 2008а.
- Зощенко М.М. Нервные люди : Рассказы и фельетоны (1925–1930) // Зощенко М.М. Собрание сочинений. М., 2008б.
- Зощенко М.М. Разнотык : Рассказы и фельетоны (1914–1924) // Зощенко М.М. Собрание сочинений. М., 2008с.

- Зошенко М.М. Сентиментальные повести // Зошенко М.М. Собрание сочинений. М., 2008e.
- Катаев В.П. Алмазный мой венец // Катаев В.П. Собрание сочинений: в 10-и тт. Т. 7. М., 1984.
- Куляпин А.И., Скубач О.А. Москва моя – страна моя: столица и провинция в советской модели мира // Куляпин А.И., Скубач О.А. Мифы железного века: семиотика советской культуры 1920–1940-х годов. Барнаул, 2005.
- Лицо и маска Михаила Зошенко. М., 1994.
- Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002.
- Михаил Зошенко в воспоминаниях современников. М., 1981.
- Михаил Зошенко. Материалы к творческой биографии. Кн. 1. СПб., 1997.
- Михаил Зошенко. Материалы к творческой биографии. Кн. 3. СПб., 2002.
- Олеша Ю.К. Книга прощания. М., 2006.
- Паперный В. Культура «два». М., 1996.
- Слонимский М.Л. Книга воспоминаний. Л., 1966.
- Сухих И.Н. Примечания // Зошенко М.М. Сентиментальные повести / Собрание сочинений. М., 2008.
- Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995.
- Чуковский К.И. Дневник (1901–1929). М., 1991.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВРЕМЕНИ В ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ ДИСКУРСЕ

Т.В. Федосова

Ключевые слова: литература постмодернизма, категория времени, темпоральность, темпоральная структура, идиостиль.

Keywords: postmodern literature, category of time, temporality, temporal structure, author's style.

«Среди неизвестного в окружающей нас природе, самым неизвестным является время, ибо никто не знает, что такое время и как им управлять».

Аристотель

Время, будучи значимым компонентом бытия нашей Вселенной, волнует умы мыслителей на протяжении многих веков. Этой проблематике посвящены дошедшие до наших дней труды таких философов как Гераклит, Аристотель, Августин; с ней связаны фундаментальные

естественнонаучные теории XIX и XX веков и самые новейшие достижения ученых прямо или косвенно затрагивают понятие времени. Несмотря на прогресс в науке и технике и продвижение в изучении категории времени, она продолжает оставаться одним из «самых неизвестных» феноменов, в котором «укоренена центральная проблематика всей онтологии». Как отмечает А.П. Левич «The causes of the emergence of changes and creation of the new in the World (“the nature of time”) is the greatest enigma of science» («Причины появления изменений и создание нового в мире («природа времени») – величайшая загадка науки») [Levich, URL].

Сегодня исследователи выделяют разные аспекты времени: физический, биологический, социальный, исторический, психологический, языковой и др. Время становится не просто предметом философских рассуждений, а объектом серьезных научных изысканий. Об этом свидетельствуют и следующие факты: в 1966 году Дж.Т. Фрейзер основал Международное общество по изучению времени (The International Society for Study of Time), ознаменовавшее особый этап в развитии темпорологии, характеризующийся междисциплинарным подходом ко времени как к объекту научного анализа, а в 1984 году образовался Междисциплинарный семинар по исследованию феномена времени при Московском государственном университете. Появляется новый термин – темпоральность, то есть время как единство прошлого, настоящего и будущего.

Идея времени присуща всем культурам, оказывая влияние на особенности представлений о жизни, о предназначении и судьбе. Несмотря на то, что в некоторых культурах все еще сохранился размеренный уклад жизни, в условиях глобализации современному мегаполису присущи мобильность, напряженный график работы, быстрое принятие решений, необходимость сделать что-то здесь и сейчас. Благодаря высоким технологиям взаимодействие в режиме реального времени стало доступно практически каждому, однако люди не стали более счастливы, пользуясь благами цивилизации. Динамика всех процессов и увеличение скорости жизни заставляют по-новому воспринимать время. Если несколько десятилетий назад, тридцатилетний человек считался зрелым мужчиной, то сейчас он - еще маленький ребенок, а в средние века он становился старейшиной рода.

Время уже не мыслится категориями разных культур, идет сближение в восприятии времени разными этносами. Современный человек вынужден максимально рационально использовать время; это – ценный ресурс, который он считает и экономит. Отсюда происходит и

главный тезис современного человека – ценить настоящий момент. На восприятие времени, как известно, оказывают влияние многие факторы: культурные, религиозные, возраст, эмоциональное состояние, в том числе и темп жизни.

В постмодернизме мы наблюдаем особенную репрезентацию времени. Для постмодернистской парадигмы характерны отказ от правил и норм, режим траты, игры, развлечений и свободного досуга. Задачей модерна была экономия и планирование времени, а главными факторами модерна являются активация межкультурных связей, виртуальная реальность и пренебрежение нормами и канонами. Более того, время из категории культурной превращается в категорию личностную, что находит свое отражение в творчестве постмодернистов и в тексте как творческом продукте.

Сегодня высказываются смелые предположения о том, что наш мир порожден движением времени, однако, на наш взгляд, время лишь позволяет упорядочить последовательность определенных событий. Подобным образом работает время в тексте для упорядочивания событий и действий персонажей. Текстовое время имеет много общего с объективным временем, но также обладает своими уникальными характеристиками. Темпоральная структура текста – это определенная модель, которая формируется посредством организации событий в тексте с помощью средств, выражающих время.

В данной работе особое внимание уделяется особенностям постмодернистской парадигмы посредством анализа времени в современных литературных произведениях и воссоздания авторской картины времени. Индивидуальная авторская темпоральная картина является результатом не только интеграции существующих в обществе культурных моделей времени (*ego-based and time-based models*), но также личностного темпорального опыта и осознания времени. Концептуальная система автора, в том числе его темпоральная картина проецируются в его произведениях. Особенностью работ авторов-постмодернистов является индивидуальная трактовка категории времени, которая иногда лишь имплицитно присутствует в текстах, но и в этом случае можно увидеть закономерность в ее репрезентации и на этой основе определить постмодернистскую манеру письма.

Направление постмодернизма в литературе представлено широкой географией авторов, среди которых ключевыми фигурами являются Дж. Барт, У. Эко, К. Воннегут, Дж. Фаулз, Т. Моррисон, М. Этвуд и др. В произведениях авторов-постмодернистов переплетаются времена, культуры, языки, реальные факты и вымысел, современность и про-

шное. Попытки выделить основные признаки постмодернизма предпринимались разными исследователями, такими как Ж.Ф. Лиотаром, Р. Бартом, Ю. Кристевой, И. Ильиным, В. Рудневым и др., однако до сих пор не существует четкой классификации средств организации постмодернистского текста.

Выделим фундаментальные принципы построения парадигмы постмодернизма: отказ от строгих правил построения сюжета, ироничное отношение к действительности, гибридность жанров, парадоксальность, игра с текстом и с читателем, интертекстуальность, плюрализм стилей, ориентация на множественность интерпретаций текста, принцип читательского сотворчества и др. Однако время в литературе и кинематографе становится основным приемом, с помощью которого создаются уникальные повествовательные ходы, такие как фрагментарность дискурса, коллаж, монтаж, игра со временем, путешествия во времени, временные сдвиги и т.д.

Одним из главных вопросов постмодернизма также является размышление над вопросом, что есть действительность и делается вывод, что действительность у каждого своя, все принимаемое за действительность – это лишь представление о ней, а язык не только выражает реальность, но и создает ее.

Трактовка времени и текста в постмодернизме во многом подобна. Текст в постмодернизме представляет собой структуру, состоящую из множества других текстов. Время представляет собой определенный конструкт, который формируется у отдельно взятой личности. Писатели уделяют особое внимание личному переживанию времени, описывая разнообразный темпоральный опыт. Ф. Розен сравнивает современную темпоральность с полем брани, на котором разрушительная сила времени сражается с желанием взять над ним контроль, что присуще и постмодернизму («Modern temporality is like a battle terrain on which the disordering force of time struggles with the need and desire to order or control time») [Rosen, 2001, p. 23].

Рассмотрим основные черты объективного и текстового времени. Время обладает некоторыми важными свойствами, которые помогают человеку ориентироваться в мире, но которые изменяются в тексте. В первых – это способность времени упорядочивать события, его непрерывность и однонаправленность, изменчивость, текучесть, движение из прошлого в будущее. Здесь возникает известный образ времени как реки, в которую невозможно войти дважды, описанный Марком Аврелием: «Time is like a river made up of events. No sooner does anything appear than it is swept away and something else comes into its place and

will be swept away too» [Aurelius, URL]. В тексте, как известно, время обратимо. Во-вторых, время можно измерить и оно движется приблизительно с одинаковой скоростью. Скорость течения времени меняется со сменой скорости движения, имеются доказательства (опыты с атомными часами) о неравномерно текущем времени. Ученые говорят о циклическом характере времени: природные циклы, исторические циклы, в экономике известны циклы Кондратьева, в мире идет повторение определенных явлений и процессов. В тексте время – неравномерно. В-третьих, физическое время континуально, тогда как в тексте оно – дискретно.

Еще одна основополагающая черта времени – это его психологичность. Время субъективно воспринимается под влиянием религиозных, мировоззренческих, возрастных факторов, а также зависит от личностных аспектов и ситуаций и существует на уровне сознания, восприятия и ощущений. При нарушении работы мозга, в случае расстройства сознания, деперсонализации происходит нарушение восприятия времени, возникает ощущение потери во времени, оно кажется либо слишком медленно текущим, либо очень стремительным, что часто сопровождается нереальностью переживаемого опыта.

Данные явления раздвоения сознания и неадекватного восприятия времени становятся предметом сюжетов современных авторов. Так, в произведениях российского писателя-постмодерниста Виктора Пелевина постоянно наблюдаются скачки во времени именно за счет сдвигов в сознании героев. В «Омон Ра» под действием снотворного у главного героя наблюдаются провалы в памяти, галлюцинации, передвижения из одного временного интервала в другой, из одной пространственной плоскости (Луна) в другую (Земля).

В другом романе «Чапаев и Пустота» время становится основным предметом размышлений главного героя и автора: существуют ли я благодаря миру, или мир существует благодаря мне? В романе постоянно прослеживается мысль, что в мире сложно разобраться, что реально, а что нет, жизнь – это сон, мир – это мираж, а в будущее нужно еще суметь попасть: *Мне вдруг пришло в голову, что с начала времен я просто лежу на берегу Урала и вижу сменяющие друг друга сны, опять и опять просыпаюсь здесь же.* На примере помутнения сознания, ложных личностей, эффектов шизофрении и сеансов психотерапии герой попадает то в начало 20-го века, то в наши дни. Из-за ранений протагонист теряет память и ведет дневник, записывая туда необходимую информацию, затем перечитывает ее и пытается восстановить прошедшие события. В. Пелевин использует присущие кинематографу спец. эф-

фекты, монтаж, комбинированные съемки, технику «рассказ в рассказе», паровоз в романе служит прообразом времени.

В сознании, а, следовательно, и в тексте, как продукте сознания, категория времени имеет более сложную структуру, более широкий диапазон и более объемный, нереальный характер/план. Художественный мир представляет собой сложную многоплановую конструкцию с сюжетно-фабульной структурой, где объективные характеристики времени преобразуются. Время становится дискретным, разнородным, обратимым. Текстовое время (*story time, the time of narration*) – многомерно и многопланово, дискретно и обратимо, ретроспективно и проспективно, неравномерно и неустойчиво. Сдвиги во времени влекут за собой и сдвиги в пространстве, взаимосвязь времени и пространства отражена в теории М. Бахтина о хронотопе, как единстве времени и пространства.

В литературе данного направления присутствует тенденция к так называемому повествовательному хаосу. Писатели намеренно разрывают хронологическую канву повествования реминисценциями персонажей или же отрезками, представляющими линию перспективы. Так, У. Эко в романе «Баудолино» постоянно посвящает читателя в то, что произойдет с тем или иным персонажем в будущем. Например, Никита увидел свою кончину, Баудолино рассказывает о том, что он убил убийцу царя Фридриха, в то время, когда царь еще жив, рассказ Баудолино – такой же рваный как долгий путь персонажей и т.д. Данный прием создает эффекты интриги, внутреннего напряжения, неожиданности.

Роман Т. Моррисон «Джаз» также изобилует реминисценциями и лирическими отступлениями. В нем главная героиня Вайолет пытается свести воедино свидетельства о погибшей девушке Доркас, которая была любовницей ее мужа. В романе идет возвращение из настоящего к прошлому, к моменту похорон любовницы мужа героини, на которых она учинила скандал: *She is awfully skinny, Violet; fifty, but still good looking when she broke up the funeral*. На протяжении всего романа Вайолет хочет восстановить прошлое, чтобы узнать и разобраться, почему Доркас нравилась ее мужу. Наличие двух временных планов выражено использованием двух глагольных форм – настоящего и прошедшего времени.

В XX веке появляются произведения, которые можно читать с любой страницы, очень популярны приемы романы без конца, «начало с развязки» или «альтернативные концовки». Рассказ В. Набокова «Круг» (1936) начинается со слова «во-вторых» и заканчивается сло-

вом «во-первых». Путешествия в прошлое позволяют встретить самого себя, как это произошло с Х.Л. Борхесом в рассказе «Другой», где Борхес встретил в прошлом молодого Борхеса.

В произведении, по желанию автора, события могут меняться местами, двигаться с конца в начало, перешагивать через определенные промежутки и этапы, остановиться, замереть, растянуться или сжаться. Они могут исчезнуть, но по воле автора вновь появиться. У. Эко в романе «Маятник Фуко» показывает, что он печатает текст на компьютере, затем удаляет его, *«потому что хотел, чтобы то, что я написал, никогда бы не бывало произошедшим»*. Текст исчезает, но в компьютере его можно легко восстановить, нажав нужную клавишу.

Роман Дж. Апдайка «Кентавр» представляет яркую иллюстрацию переплетения реального и нереального, мифов и автобиографии, где автором используются хитрые сюжетные ходы: мифологические аллюзии, переходы из одного художественного мира в другой, литературные реминисценции, внутренние монологи, полифония. Читателю в начале сложно разобраться, когда происходит действие: в 1947 году или несколько лет спустя, герой романа появляется на его страницах уже после того, как читатель увидел некролог, посвященный герою.

Современные авторы-постмодернисты уделяют большое внимание настоящему, что во многом определяет их картину мира. У. Фолкнер говорит, что «все это – Сейчас. Вчера не закончится, пока не наступит Завтра, а Завтра началось десятки тысяч лет тому назад» [Фолкнер, 1948]. В настоящем, по словам, Х.Л. Борхеса, всегда есть частица прошлого и частица будущего. Герой В. Пелевина отмечает, что «единственное реальное мгновение времени – это сейчас». Явление «сейчас» не может существовать в физике, не порождая парадокса между причинным детерминизмом и непрерывным изменением [Сэнфэй, 2002]. Дж. Фаулз также пишет о важности настоящего момента: «I was trying to emphasize the importance of the now. The nowness of any given point in time is pure and virginal. You don't begin to understand ordinary history until you have at least some sense of this staggering perpetual yet evanescent nowness» [Fowles, 1998, p. 382].

Дина Рубина в романе «На солнечной стороне улицы», затрагивая вопрос взаимоотношения человека со временем, называет последнее «бездонной водой» и «ускользающей, улетающей прочь дырявой, как ключья тумана, бесформенной субстанцией, которую можно высчитать и разбить на мельчайшие доли, а также описать все свои мельчайшие движения в эти мгновения, но невозможно постигнуть и удержать» [Рубина, 2008, с. 294]. Часто писатели показывают символическое и

метафорическое изображение времени. Время можно воспринимать, измерять и описывать в тексте. Языковые знаки имеют огромный потенциал репрезентировать время, в языках имеется огромное количество метафорических и идиоматических выражений с временным признаком, и носители языка обладают богатой палитрой языковых средств и способов для построения темпорально маркированных высказываний.

Темпоральная категоризация включает два основных аспекта: восприятие времени и его семиотизация (выделение ключевых признаков и их осмысление), а также выбор языкового знака, с помощью которого отражается временной компонент адекватным образом в описываемом фрагменте действительности. Восприятие времени человеком происходит в большей степени при помощи языка. Существуют также «доязыковые» когнитивные структуры, гештальты, фреймы, оперирование которыми является органической частью речепорождения.

Концептуальные метафоры, передающие представления о времени, можно разделить на следующие группы: Время – живое существо (время правит, лечит, царствует, требует, бежит, летит, идет, *time waits for no one, time heals, marches on*) и Время – неживой объект (река, колесо, огонь, вода и т.д.). Время часто представлено в художественных текстах в виде различных конструктов, образов и сравнений. Ярким подтверждением этому служат произведения английского автора-постмодерниста Анжелы Картер. Часы часто приобретают символическое значение в ее произведениях. В романе *Heroes and Villains* с первой страницы вводится образ часов:

*Marrienne had sharp, cold eyes and she was spiteful but her father loved her. He was a Professor of History; he owned a **clock** which he wound every morning and kept in the family dining-room upon a sideboard full of heirlooms of stainless steel such as dishes and cutlery. Marrienne thought of the clock as her father's pet, something like her own pet rabbit, but the rabbit soon died and was handed over to the Professor of Biology to be eviscerated while the clock continued to tick inscrutably on. She therefore concluded the clock must be immortal but this did not impress her. Marrienne sat at table, eating; she watched dispassionately as the hands of the clock went round but she never felt that time was passing **for time was frozen around her** in this secluded place where a pastoral quiet possessed everything and the busy clock carved the hours into sculptures of ice.*

Для девочки подростка время тянется мучительно долго, так как у нее нет интересных занятий, время застыло и почти не движется, хотя

часы не стоят на месте, они отсчитывают секунды и минуты, которые затем превращаются в ледяные скульптуры. Попадая в совершенно другой мир варваров, героиня может почувствовать разницу в восприятии течения времени: *If time was frozen among the Professors, here she lost the very idea of time, for the Barbarians did not segment their existence into hours nor even morning, afternoon and evening but left it raw in original shapes of light and darkness so the day was a featureless block of action and night of oblivion.*

Время сложно понять и осознать, оно – секрет для персонажей романа: *They had long ago stopped using the dining-room and he moved the clock into his study. It made a small? Private ticking as he talked, as if the time it told was a secret between the three of them.*

Образ часов появляется на протяжении всего произведения, хотя после смерти отца, девочка решает от них избавиться: *She kept her father's books for a time but found she could not bear to read them and in the end she burned them. She took his clock out to a piece of swamp and drowned it. It vanished under the yielding earth, still emitting a faint tick.*

Однако, часы отца постоянно всплывают в памяти героини, как напоминание о ее прошлой беззаботной жизни: *A squirrel chattered in the branches. It ticked away like her father's clock but was a biological timepiece of flesh and blood which did not tell the hours.*

Часы репрезентируют время в тексте, что подтверждается в следующем отрывке: *She wore a dead wrist watch on her arm, purely for decoration; it was a little corpse of time, having stopped for good and all at ten to three one distant and forgotten day.*

Образ часов играет важную роль в формировании темпоральной структуры других романов А. Картер: *When we were just babbling our first 'g'anma', that clock turned up.* В романе «The Magic Toyshop» время для главной героини Мелани остановилось, когда ее привезли в чужой дом к незнакомым родственникам после смерти родителей. И впервые за долгие месяцы, уже в конце романа время оживило, пошло быстро, и здесь опять появляются часы: *He raised his arm, took aim and flung the mug at the cuckoo clock. The little door spurted open. The cuckoo came out and chanted fourteen o'clock, fifteen o'clock, sixteen o'clock.*

В художественной литературе мы встречаем самые различные образы времени. Одни из них очень индивидуальны, уникальны, другие – более традиционны. Образы времени вмещают в себя различные характеристики и модели. Во многих примерах происходит семантический перенос общефилософского понятия времени на индивидуальное восприятие времени.

Итак, категория времени связана с последовательной сменой этапов жизни природы, человека и его сознания; время связано с отношениями причин и следствий, прошлого, настоящего и будущего, а также с субъективным переживанием времени и его интерпретацией в различных типах сознания. В литературе постмодернизма имеется характерная репрезентация темпоральности, которая имеет определенный набор средств, кодов, образов и приемов. Таким образом, форма репрезентации времени в значительной мере отражает концептуальную картину мира писателей, характерную для постмодернистов.

Анализируя произведения авторов-постмодернистов необходимо отметить, что время в постмодернистском дискурсе представлено в качестве определенной комплексной многоплановой структуры, что свидетельствует о том, что данное сложное явление становится еще более сложным в сознании отдельной личности, а, следовательно, приобретает комплексные формы выражения в тексте. В поисках ответа на вопрос о сущности и структуре времени и, пытаясь понять этот феномен, авторы прибегают к играм, опытам и экспериментам с сознанием, что еще больше усложняет его природу. В данном направлении наблюдается похожий взгляд на реальность, текст и время, которые представляют собой множество индивидуальных реальностей, текстов и времен.

Литература

- Пелевин В. Омон Ра. М., 2001.
 Пелевин В. Чапаев и Пустота. М., 2007.
 Рубина Д. На солнечной стороне улицы. М., 2008.
 Фолкнер У. Осквернитель Прага. М., 1986.
 Эко У. Баудолино. СПб, 2007.
 Эко У. Маятник Фуко. СПб, 1988.
 Aurelius M. Meditations [Электронный ресурс]. URL: <http://architectdann.wordpress.com/marcus-aurelius>
 Carter A. Heroes and Villains. New York, 1970.
 Carter A. The Magic Toyshop. New York, 1996.
 Carter A. Wise Children. New York, 1996.
 Fowles J. Wormholes. New York, 1998.
 Levich A.P. What We Expect from Studying Time [Электронный ресурс]. URL: http://www.chronos.msu.ru/EREPORTS/levich_what.htm
 Morrison T. Jazz. New York, 1993.
 Rosen P. Change Mummified : Cinema, Historicity, Theory. Minneapolis, 2001.
 Sanfey J.J. Reality and Those Who Perceive It // The Nature of Time: geometry, physics, and perception. Dordrecht, 2003.
 Updike J. The Centaur. New York, 1991.

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЙ РОМАН 1980–2000 ГОДОВ: НОВЫЕ ФОРМУЛЫ НЕСПЕШНОСТИ

Г.В. Кучумова

Ключевые слова: немецкоязычный роман 1980-2000 годов, формулы неспешности, возрождение интереса к замедлению, секрет остановки времени, романы К. Бёлдля, В. Генацино, С. Надольного.

Keywords: German language novel of 1980-2000, formulae of deliberateness, a rising tide of interest in slowing, secret of stopping the time, novels by K. Böldl, W. Genazino, S. Nadolny.

В пространстве западноевропейской культуры второй половины XX века скоростные модели движения сменяются новыми моделями неспешности. Еще с 1960-х годов отмечена экспансия восточных духовных практик замедления, медитации и концентрации, которые создают новую неспешность, резко контрастирующую с современной скоростью и ускорением. Характерно, что такая неспешность, свойственная альтернативной (восточной) культуре, в конце XX века успешно проникает в мейнстрим западноевропейской культуры, и таким образом в ней реализуется неизбежная потребность человека в неспешной «внутренней работе», в создании вневременных островков в современной скоростной жизни [Эйхберг, 2006].

В новой культурной парадигме конца XX века классическое современное восхищение направленным временем, скоростью, ускорением сменяется потребностью в неспешности, тишине и уединении. Французский исследователь современного общества потребления Жан Бодрийяр говорит о возникновении в обществе и культуре потребления новых потребностей бытийного плана, то есть «потребностей в чистом воздухе, зелени, воде, тишине» [Бодрийяр, 2006, с. 255]. Бодрийяр акцентирует неустранимую сторону этой «бытийной» потребности, непреодолимое желание человека встретиться с подлинной реальностью, с сокровенным Другим, заглянуть по ту сторону симулятивного, неподлинного бытия. В более сильном регистре об этом же говорит словенский исследователь Славој Жижек. В своей книге «Добро пожаловать в пустыню Реального» (2002) он указывает, что в условиях искусственной реальности, когда технически достигается «эффект реальности», неизбежная человеческая потребность в подлинном, настоящем многократно усиливается, превращаясь в «страсть реального». В

этой страсти, отмечает далее С. Жижек, проявляется отчаянная стратегия утверждения самой реальности в противоположность невыносимому страху человека перед «исчезновением» себя в пространстве виртуальной культуры [Жижек, 2002, с. 16–17].

Если традиционным обществам был присущ культ тайны и глубины, то для общества нового типа – информационного – типичны «культ поверхности» и «культ новизны». Современные массмедиа, озабоченные перманентным обновлением впечатлений, намеренно поддерживают высокую скорость движения человека-потребителя по поверхности и на поверхности. Тем самым они формируют новый, «религиозный» обряд (консюмеризм), смысл которого состоит в том, чтобы лишить человека смыслового наполнения жизни, освободить его от пугающей тайны, от непредсказуемой «глубины мира» (О. Шпенглер).

В новом формате культуры неспешность, тишина, уединение становятся угрожающим, опасным Другим. В неспешном модусе существования разбиваются окутывающие человека симулятивные оболочки и мифологические образования, и он устремляется к искомому «означаемому», на встречу с сокровенным Другим. Таким образом, неспешность восстанавливает связь с «означаемым», освобождая «внутреннее» внимание человека и делая его восприимчивым к тайне. Остановка в скоростном потоке жизни, настраивающая человека на созерцание и осмысление своего самого присутствия в этом мире, предполагает более глубокое вхождение в сферу знака. В условиях «скоростной» цивилизации неспешность приобретает чрезвычайную важность. Как особое, измененное состояние сознания, как необычный тип переживания и своеобразный способ познания себя и мира – неспешность являет собой некое накопление (главным образом внутренне-го) движения, то есть предполагает осмысленное бытие.

В пространстве немецкоязычной литературы открытие неспешности принадлежит великому Гете. Он выводит новую формулу современности – «*Alles veloziferisch*», в которой слово «*veloziferisch*» соединяет в себе *velocitas* (лат.- ускорение, быстрота) и *Luzifer* (Люцифер). В драме «Фауст» и в романе «Избирательное сродство» Гете апеллирует к «культуре неспешности» («*retardierende Kultur*»), предостерегая человечество от ускорения как величайшего соблазна («*Magie der Übereilungen*») [Osten, 2003, s. 43]. К «культуре неспешности» («*Ritardando-Prosa*») имеют прямое отношение многие немецкоязычные писатели последних веков (А. Штифтер, Т. Манн, М. Фриш, П. Хандке, К. Рансмайр, С. Надольный и др.). В мировой художествен-

ной литературе XX века феномен неспешности и модель осмысленного восприятия времени активно исследовались в романах М. Пруста «В поисках утраченного времени», Т. Манна «Волшебная гора», Г. Маркеса «Сто лет одиночества», У. Фолкнера «Шум и ярость». В них читатель найдет многочисленные размышления о природе времени, его многомерности, обратимости-необратимости, о связанности времени с пространством, движением и деятельностью человека.

Интерес к этой теме усиливается с появлением в самом начале XX века новых концепций человека. Французский философ Анри Бергсон («Творческая эволюция», 1903) вводит новое определение человека – человека деятельного, «человека-ремесленника» (*homo faber*), которого отличает механистический подход к миру. Личное пространство *homo faber* обустраивает искусственными вещами-орудиями и через них познает мир. Он живет как бы «вовне», в режиме «ложного» понимания времени. «Правильное» же понимание времени предполагает осознанное проживание времени-пространства, созерцательное, то есть непотребительское отношение человека к своей жизнедеятельности. Лишь в такой «модальности» человек способен познать и открыть для себя мир и себя в этом мире.

В немецкоязычном романном дискурсе 1980–2000 годов современные авторы выводят новые формулы неспешности, регистрируя закономерный возврат к естественному восприятию человека мира. Их романы представляют собой художественный проект, в котором реализуются концепты «замедление», «тишина», «неспешный диалог с Другим», испытываются новые модели времени, позволяющие человеку пробиться к осмысленному бытию.

Одной из характерных реакций современного человека-потребителя на скоростной режим существования общества и культуры является вариант симуляции ленивой неспешности. Его реализует Кристиан Крахт в романах «Faserland»(1995) и «1979» (2001). Герои этих романов – современные сибариты, гедонисты, фланеры, денди – культивируют «аристократические» формы жизни, наслаждаются симулятивной неспешностью. Собственную жизнь «на поверхности» и движение «по поверхности» они воспринимают исключительно как праздное путешествие, как яркую «ленту кинематографа». В долгих и бесцельных вояжах по городам своей страны и мира они неизменно оказываются в ситуации «Я – везде, но нигде» (феномен «непрожитого движения»). Скоростные средства передвижения позволяют им быстро передвигаться в пространстве, но сущностно в нем не присутствовать и не «участвовать».

Ответом на тему «непрожитого движения» становится апология пешего путешествия. Неспешная ходьба сообщает путнику свободу действий, ощущение власти над пространством, или «состояние прогрессивного упорядочивания пространства» (Р. Джарвис). В свое время О. Шпенглер, рассуждая о пространстве, которое выступает прасимволом всякой культуры, писал, что бытие сущего только тогда открывается человеку и становится его «истинным бытием», осознанным и смыслозначимым, когда оно оказывается пройденным естественным способом. По мысли Шпенглера, человек по природе своей соразмерен бытию сущего, и всякая попытка преодолеть эту соразмерность делает это сущее утраченным, «пропущенным», «непрожитым» [Шпенглер, 1993, с. 437].

В литературе и культуре нового рубежа веков возрождается пеший вид путешествий и «медлительный» образ жизни. Так, известный немецкий писатель и публицист Вольфганг *Бюшер, автор книги «Берлин - Москва. Пешее путешествие»* («Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuss», 2003), предпринимает пешее путешествие от Берлина до Москвы [Büscher, 2003]. Его одиночное путешествие длится около трех месяцев. В разгар лета он переходит через Одер, на российской границе его встречают осенние ливни, а под Москвой – первый снег. Бюшер идет по историческим следам «на Москву» дорогой Наполеона и достаточно точно повторяет путь группы армий «Центр». Во время путешествия он изучает людей, исследует населенные пункты. Его книга содержит описание уникального путешествия, ярко и живо рассказанное. Читателя увлекает «живое», пульсирующее движение бодрствующего странника, завораживает взгляд «чужого». Такой способ получения «живого» знания в современной культуре скоростных «псевдо-путешествий» и «псевдо-наслаждений» является особо ценным.

К поискам новых моделей неспешности подключаются и другие современные немецкоязычные авторы. Прозаик Клаус Белдль в повести «К югу от Абиско» («Südlich von Abisko», 2000) подводит своего главного героя Харальда Берингера к пониманию того, что основная ценность человеческой жизни заключена во времени. Современному человеку, вовлеченного в скоростной режим существования, необходимо лишь научиться ценить временную составляющую его жизни. Герой повести, желая воспринимать жизнь во всей полноте, сознательно замедляет ее течение. Он намеренно отказывается от часов будильника, этого механического носителя и свидетеля агрессивности внешнего мира, предпочитая просыпаться утром естественным путем. Берингер испытывает насущную потребность в неспешной жизни, не-

торопливой и не привязанной к определенному моменту времени [Böldl, 2000, s. 44]. Смыслозначимым в его жизни становится одно «вдруг-событие» - непродолжительное пребывание в сельской глуши. Оно как бы останавливает суетный бег городской жизни, возвращает его к изначальному единству человека и мира. Шестидневное наслаждение сельской идиллией выступает для героя К. Белдля границей, отделяющей его от «машинерии» повседневности и от людей, которые в состоянии «сновидческой» апатии едут на работу или спешат в магазины.

Новые формулы неспешности выводит другой немецкий писатель Вильгельм Генацино. Лирическому герою его романа «Зонтик на этот день» («Ein Regenschirm für diesen Tag», 2001) недостаточно каждодневной медитативной расслабленности, которую он, «эксперт по обуви», обретает в неустанной механической ходьбе по городу. Он желает усилить достигнутый в ходьбе-медитации результат стабильным состоянием внутреннего покоя. Практика внутреннего безмолвия для него чрезвычайно важна. Она означает взятие на себя обязательств, чтобы тратить определенное количество времени на то, чтобы просто БЫТЬ. Будучи городским человеком, герой Генацино испытывает потребность в уединении, тишине, молчании. Он жаждет «первоначальной немоты», чтобы, оказавшись в условиях девственно чистого первоизданного мира тишины, прозреть в нем истинные мгновения переживания всего сущего [Соколова, 2006, с. 132–133]. Его душа, настроенная на лирический лад, требует все новых «порций тишины». Он все чаще прислушивается к себе. Поначалу его пугают участвовавшие в последнее время «приступы молчания». Героя одолевают сомнения в том, насколько дозы молчания необходимы ему для жизни, находятся ли они в пределах нормы или это явный симптом, свидетельствующий о начале внутреннего заболевания. Ему приходит в голову идея разослать всем своим знакомым график молчания («*Schweigstundenplan*») [Genazino, 2007, s. 44], который будет строго фиксировать промежутки времени, когда он готов к вербальной коммуникации с другими, а когда наступает время его личностного привилегированного уединения. С людьми, которые не считаются с его потребностями в тишине, он вынужден порвать всяческие отношения. Два дня в неделю – понедельник, вторник – он объявляет зоной молчания. По средам и четвергам он предполагает переменное молчание, предполагающее возможность перерывов на короткие беседы и телефонные звонки. По пятницам и субботам после одиннадцати утра он готов к «сплошной коммуникации», а по воскресеньям он планирует полное отключение от кон-

тактов с внешним миром («*totales Schweigen*») [Genazino, 2007, s. 44]. Постепенно герой Генацино приходит к пониманию того, что молчание есть не только внесоциальный феномен, оно составляет глубинное содержание человека, объединяющее его с другими людьми и с миром, а на предельной глубине – со всем сущим на Земле.

В модус наслаждения жизнью переводит феномен неспешности один из виднейших романистов второй половины XX века французский писатель Милан Кундера. Его роман «Неспешность» («*La lenteur*», 1995) приглашает современного читателя к раздумьям над ценностями XX века, потерявшего искусство наслаждения в скоростном обладании и потреблении. В художественном поле его романа существуют разные исторические эпохи: «скоростной» XX век тотальной симуляции встречается с «неспешным» веком XVIII, эпохой гедонизма. Автор включает в повествование новеллу – способ романного конрапункта – трактат об искусстве наслаждения, курс сентиментального воспитания, романное эссе о симулякровой действительности XX века [Шевякова, 2005]. Кундера задается вопросом: что есть неспешность жизни и насколько она возможна в современном мире. Современного автора интересует не симулятивное наслаждение жизнью «здесь-и-сейчас», а мудрая медлительность, техника замедления, этапы наслаждения этой неспешностью.

Если формула неспешности в романе Кундеры имеет своей составляющей гедонизм, то в романе немецкого автора Стена Надольного «Открытие медлительности» («*Die Entdeckung der Langsamkeit*», 1983) результирующей выступает интенсивная внутренняя жизнь как аспект успешного «жизнестроительства». Неспешность у Надольного понимается в «духе немецкой медленности» (Гете) как результат напряженной духовной работы, как достижение определенного уровня сознания и обнаружение некой целостности, в которой содержится определенная структура деятельно-созерцательного отношения человека ко всему. В романе «Открытие медлительности» автор предлагает своему читателю испытание идеи «неспешности», то есть открытие «осмысленного» пространства, «пригодного» для существования в нем человека.

Роман Стена Надольного предстает отчетом о путешествии в мир, где замедляется время. Это – неторопливое повествование о героическом английском офицере, открывшем бесконечность и воплотившем медлительное своеобразие истинно немецкого духа. В основе сюжета лежит парадоксальная ситуация *festina lente* («*Тыше едешь – дальше будешь*»). Главный герой Джон Франклин, чрезвычайно медлительный

человек, и, казалось бы, уже в силу этого обреченный на жизненные неудачи и неуспешную деятельность, тем не менее, делает блестящую карьеру морского капитана, губернатора Тасмании, первооткрывателя северных земель. Автор здесь по-постмодернистски совмещает несоединимые в западноевропейской культуре нового времени понятия «медлительность» и «успешность» [Kohreiß, 1999]. В индустриальном обществе быстрота во всех ее проявлениях всегда поощрялась как залог успешной деятельности человека. В силу этого слово «медлительный» в европейских языках приобрело очевидную, исторически закономерную негативную коннотацию. «Медлительный» означает «небыстрый, неудачный, слабый, больной, увечный, старый, ненужный, обреченный на смерть изгой». Случаи позитивного использования значения этого слова достаточно редки, например, в пространстве немецкоязычной культуры *bedächtig* – рассудительный; медлительный, основательный.

Надольный обращает внимание читателя на то, что духовная работа предполагает замедление персонального времени человека, то есть достижение своеобразного медитативного состояния его сознания, рождающее в нем ощущение целостности сознания, собственной значимости, духовности и ценности человеческой жизни. Неспешный человек как бы «опрокидывается» в свой внутренний мир, входит в такое состояние сознания (измененное состояние сознания), когда можно просто БЫТЬ. Опыт такого состояния принципиально невербализуем, о нем можно сообщать только символами. Измененное состояние сознания позволяет снять противоречие между «внутренним» и «внешним», то есть в романе внутренняя жизнь героя превращается в зрительно воспринимаемые события. Роман «Открытие неспешности» предстает как путешествие в сознание героя.

Глубинное содержание романа выводит читателя на философское осмысление проблемы времени. Идея правильного понимания времени метафорически реализуется в известной античной апории Зенона «Ахилл и черепаха». Духовный наставник Джона Франклина – учитель латинского языка доктор Орм – раскрывает ему глаза не только на практическую значимость его врожденной способности, но и, главным образом, на его нравственное преимущество перед другими. Доктор Орм рассказывает своему медлительному ученику апорию Зенона «Ахилл и черепаха». Суть этого известного парадокса сводится здесь к этическому парадоксу: в выигрыше оказывается тот, кто не торопится. В мире все относительно: быстрый Ахилл не догонит медленно ползущую черепаху, потому что они передвигаются в совершенно иных,

несоизмеримых друг с другом измерениях, и что им присуще разное понимание времени. Элемент состязательности не служит здесь основанием для их сравнения. В жизни победителем становится сильный духом человек, который сможет вырваться из пестрого потока жизни, вырваться из линейности жизни, из ее круговерти, подняться на другой уровень сознания (понимания времени) и устремиться к высшей цели. В апории Зенона присутствует еще один важный аспект состязания: наряду со скоростью движения здесь представлено умение человека сквозь суетное и поверхностное видеть существенное и главное в жизни. Доктор Орм выражает уверенность, что когда-нибудь человечество научится жить медленно, открывая в этой неспешности мир и себя в этом мире. «*Kampf gegen unnötige Beschleunigung, sanfte, allmähliche Entdeckung der Welt und der Menschen*» [Nadolny, 1983, s. 339]. Настанет тот день, когда люди поймут, что мир надо не переделывать и улучшать, его надо открывать. «*die Welt entdecken, statt sie zu verbessern*» [Nadolny, 1983, s. 267].

Уже зрелым человеком, Джон Франклин приходит к мысли разработать собственную систему неспешности, согласуясь с которой можно «правильно» жить («das Franklinsche System») [Nadolny, 1983, s. 223]. Принцип системы Франклина предельно прост: «*Медленная работа – самая важная*» («*Die langsame Arbeit ist die wichtigere*») [Nadolny, 1983, s. 209]. Центральным пунктом его системы выступает условие «правильного» понимания времени, что означает не торопиться в делах и поступках, всегда иметь достаточно времени на размышления. Система Франклина состоит в оживлении пространства, в обогащении его «осмысленным» временем («*Reichtum an Zeit*») [Nadolny, 1983, s. 226]. По сути, он создает собственную идеологию успешного «жизнестроительства» в противовес царящему в обществе культу скорости. Будучи губернатором британской колонии в Австралии, Франклин пытается применить свою систему «неспешной жизни» в управлении колонией. Полагая, что нашел правильный метод жизни, он обзаводится желанием объявить свою систему общезначимой и общепольной и незаметно для себя начинает ее абсолютизировать. Его система терпит крах. Со временем он приходит к осознанию значимости как активного, деятельного «*vita aktiva*», так и созерцательного образа жизни «*vita contemplative*».

Культура нового времени осмысляет феномен времени, делая его зримым, например, в часовом механизме. В романе «Открытие медлительности» присутствует скрытая полемика немецкого автора с просветительской концепцией времени, представленной в образе быстрого

и шумного колеса Времени. В образной системе романа образы-метафоры песочных и механических часов занимают центральное место. В гимназии, где учится Джон, существует некое соперничество между двумя учителями. Преподаватель латинского языка, религии и истории доктор Орм использует на своих уроках только песочные часы. Преподаватель математики доктор Бернаби прибегает к помощи механических часов, которые, по его мнению, позволяют человеку больше «ценить» время, рассчитывать все до минут и секунд. За образами песочных и механических часов стоят две принципиально разные концепции времени. Время песочных часов – неторопливое, текучее, «осмысленное», воспринимается человеческим глазом как зримый поток событий. Ток песчинок в песочных часах материализует сам ход времени (время течет), а стрелка механических часов измеряет поток жизни, по воле человека ставшего дискретным (время скачет, мчится). Время механических часов – это всегда суетное, «поверхностное», «отчужденное» – указывает на отдельные отрезки. Так, в романе Стена Надольного местом суетного времени выступает город Лондон. В XIX веке здесь были в ходу белые циферблаты. «Часы и люди стали точнее. Джон не имел бы ничего против такого новшества, если бы от этого прибавилось спокойствия и размеренности. Вместо того он повсеместно наблюдал нехватку времени и спешку». «Uhren und Menschen waren genauer geworden. John hätte das guthießen, wenn daraus mehr Ruhe und Gemessenheit wäre. Statt dessen beobachtete er überall nur Zeitknappheit und Eile» [Nadolny, 1983, s. 266]. В пространстве городской культуры – в царстве механических часов – люди становятся рабами времени, поклоняясь созданному ими же культу времени. В восприятии медлительного Джона время предстает как живое всеведущее и всезнающее существо, распоряжающееся жизнью городского человека. «In London war die Zeit etwas Gebieterisches, jeder musste mit ihr mithalten» [Nadolny, 1983, s. 195]. «В Лондоне над всеми властвовало время, и каждый был обязан ему подчиняться» [Надольный, 2006, с. 226].

Отметим, что в романе «Открытие медлительности» время обретает нравственное измерение. Роман прочитывается как важное послание современнику, в котором писатель предлагает увидеть проницательному и умному читателю ту модель, которую он предлагает в качестве возможного образца для современного человека, желающего сознательно защищаться от скоростного ритма жизни и поверхностного времени, осознанно выстраивать свою жизнь. Нигилистическому безумию скорости, которое культивируется царящим повсеместно про-

грессивным мышлением, Надольный противопоставляет преимущества замедленного восприятия, делая его формами мировоззрения.

Если в романе внешний контраст «неспешность – успешность» построен на известной апории античного философа Зенона о быстром Ахилле и медленно ползущей черепахе, то внутренний контраст проявляется между актуальной неподвижностью героя и его интенсивной внутренней жизнью. С целью усиления этого контраста автор постоянно подчеркивает статуарную неподвижность героя. Автор романа намеренно выстраивает экспрессивные образы медлительных людей, статуарных по своей эстетической сущности и тяготеющих к воплощению в самодостаточной и неподвижной форме. Стояние здесь приобретает, таким образом, эстетическую и нравственно-символическую ценность и воспринимается лишь на фоне потенции движения. Так, внешне чрезвычайно медлительный Джон проявляет активность внутреннюю, постоянную готовность к познанию и открытию мира.

Джон Франклин медлителен во всех своих действиях и проявлениях: он не сразу реагирует на вопросы, с опозданием улавливает смысл обращения к нему, не сразу понимает суть поставленной перед ним задачи. Все окружающее он воспринимает как на ускоренной ленте кино: люди двигаются неестественно быстро, говорят с предельной скоростью, моргают непрерывно глазами, в течение часа солнце встает и уходит за горизонт, ежеминутно изменяется конфигурация облаков на небе. Джон не в состоянии поймать мгновения этой жизни, его внутреннее время течет слишком медленно. Уже в первых строках романа очевидна конституционная предрасположенность главного героя к неспешному познанию и открытию мира. В начальном эпизоде романа выявляется, что десятилетний Джон в силу своей чрезвычайной медлительности непригоден к игре. Он не может поймать на лету мяч, поэтому сверстники используют его как „столб“, к которому привязана веревка («*Schnurhalter*»). В этом образе, несомненно, содержится аллюзия на библейский образ праведника как прочно укорененного дерева и на античный образ Атланта. Нравственная сущность Джона иносказательно представлена в романе также в образах сказочного великана, одиноко стоящего дерева, ледяного айсберга, водяного столба в открытом море, в образе неподвижных скал. В этом ряду сравнений особо выделяется следующее: «Die fernsten Berge aber waren wie er selbst, sie standen einfach und schauten» [Nadolny, 1983, s. 12]. Нравственный идеал соотносится здесь с визуальным образом стабильности и самодостаточности. «Стоять и смотреть» значит обладать умением «сделать паузу», остановить свой суетный бег, осмыслить свое наличное бытие. В

романе художественно воплощены и экспрессивно выделены два подхода к человеческому существованию: первый *modus vivendi* предполагает максимальную «экспликацию» личности, живущей в круговерти житейской суеты; второй – опыт самоопределения личности в хаотическом мире, постепенное и медленное открытие в себе вечного и непреходящего.

Интересно проследить в романе распределение тектонических акцентов между персонажами разного ценностного уровня [Кучумова, 2007, с. 220]. Общение героя с окружающим миром представляется автору романа как столкновение двух стихий: твердо-стабильной, нравственно устойчивой и текуче-неуравновешенной, шумной и суетливой. Спокойный и неторопливый Джон идет по жизни уверенным шагом. Полярные ему персонажи в своих суетных устремлениях утрачивают свою самодостаточность. Так, дворовые мальчишки, одноклассники Джона, лихие и бесшабашные моряки на судне, суетный и меркантильный в своих делах отец Джона тяготеют к деструктивной стихии (распутная жизнь, стремление к сиюминутным удовольствиям, ориентация на немедленное решение практических задач). Отсюда их жизненные неудачи: бесцельная жизнь одних и нелепая смерть других. Атектоническое решение этих художественных образов показывает также их сильную зависимость от разрушающей стихии. Другая группа персонажей обнаруживает духовное родство с Джоном (его мать, самая медлительная мамаша в округе, учитель доктор Орм, любимая женщина Мари Роуз, друг Шерард). В образе последнего – духовного двойника – развертываются определенные черты главного героя. Сторонник духовной практики замедления, Шерард учит Джона в любых ситуациях сохранять чувство равновесия, то есть ощущения границ собственного тела и, соответственно, собственной самостождественности. Именно это состояние автор романа страстно апологетизирует и объявляет главной ценностью человека, познающего мир и себя в этом мире.

Цементирующая статичность героя Надольного позволяет ожидать такого же единого повествования, полного замедлений и повторов. Так, читатель найдет в романе многостраничные списки оснащённости морского судна, нескончаемые перечисления сухопутных и морских сражений, описание урбанистических и природных ландшафтов. Как отмечается в немецкой критике, повествовательная функция подобных перечислений близка функции заклинания [Das Paradox, 1992]. Предельно сконцентрированный на самой форме и ритмике перечисления читатель максимально вовлекается в игровую условную реаль-

ность, создаваемую *ad hoc* «здесь и сейчас». Используя повтор как старейшее и наиболее эффективное средство эмпазы, Надольный погружает своего читателя в атмосферу путешествия по морю и путешествия в сознание героя. Это продуманная повествовательная стратегия позволяет автору развернуть в своем романе систему идей нравственно-этического порядка, содержащей представления автора о качественно новом самосознании личности.

Проведенное исследование немецкоязычного романного дискурса 1980–2000 годов позволяет говорить о востребованности в западноевропейской культуре конца XX века экзистенциальной потребности в неспешности, блокированной в обществе тотальной симуляции прагматическими целями и «ложными» устремлениями. Немецкоязычные авторы выводят в своих романах новые формулы неспешности, в которых составляющими выступают как симулятивные формы неспешности («непрожитое» движение, «непрожитая жизнь»), так и «осмысленные» формы существования.

Литература

- Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
- Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. М., 2002.
- Кучумова Г.В. Визуально-пластическое решение художественных образов в романе Стена Надольного «Открытие медлительности» // Россия и Греция: диалоги культур. Часть II. Петрозаводск, 2007.
- Надольный С. Открытие медлительности. СПб., 2006.
- Соколова Е.В. Современная литература Германии: Поиски выхода из постмодернизма // Постмодернизм: что же дальше? (Художественная литература на рубеже веков XX–XXI вв.). М., 2006.
- Шевякова Э.Н. Роман Милана Кундера «Неспешность» как «транскрипция-игра» и диалог столетий // Вестник университета Российской академии образования. 2005. № 1.
- Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993.
- Эйхберг Х. Социальное конструирование времени и пространства как возвращение социологии к философии // Логос. 2006, № 3.
- Böldl K. Südlich von Abisko. Erzählung. Frankfurt am Main, 2000.
- Büscher W. Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuss. Reinbek bei Hamburg, 2003.
- Das Paradox : Eine Herausforderung des abendländischen Denkens. Tübingen, 1992.
- Genazino W. Ein Regenschirm für diesen Tag. München, 2007.
- Kohpeiß R. Sten Nadolny. Die Entdeckung der Langsamkeit. München, 1999.
- Nadolny St. Die Entdeckung der Langsamkeit. München, 1983.
- Osten M. «Alles veloziferisch» oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit. Zur Modernität eines Klassikers im 21. Jahrhundert. Frankfurt am Main und Leipzig, 2003.

«ЛЕГЕНДА О ЛИХАНОВЕ» В СБОРНИКАХ А.А. МИСЮРЕВА:
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
ОБРАЗА НАРОДНОГО ЗАСТУПНИКА

И.К. Феоктистова

Ключевые слова: образ, мифологический мотив, народный мститель.

Keywords: an image, a mythological motif, a national avenger.

Александр Александрович Мисюрев вошел в историю отечественной фольклористики как автор-составитель сборников народной несказочной прозы [Легенды и были, 1938, 1940; Предания и сказы, 1954; Сибирские сказы, 1959], вызвавших неподдельный интерес исследователей рабочего фольклора и исторических преданий в 1950–1970-е годы [Лозанова, 1955; Азбелев, 1965; Гельгардт, 1965; Соколова, 1970; Лазарев, 1970].

Собирательскую деятельность Мисюрев начал в 1930-е годы на территории, «носившей до революции название Алтайского (Кольваново-Воскресенского) горнозаводского округа» [Мисюрев, 1959, с. 3], и проявил в основном интерес к устным прозаическим повествованиям, которые были практически неизвестны, «за исключением лишь немногих сюжетов», встречающихся «в кратком изложении в трудах этнографов и краеведов XIX века» [Мисюрев, 1959, с. 3].

В 1940-50-х годах Мисюрев записывал в Западной Сибири устную прозу от жителей населенных пунктов, расположенных вдоль «большого Сибирского (Московско-Иркутского) тракта» [Мисюрев, 1959, с. 4]. Поскольку этот материал получен от потомков ямщиков, а не горнорабочих, он был практически обойден вниманием ученых.

Восполняя данный пробел, в представленной статье на основе системного анализа мотивов впервые целостно рассматривается цикл повествований о «заступнике ямщицкой бедноты Лиханове», при этом внимание в большей степени уделено мифологическим мотивам образа героя.

Опубликованные при жизни собирателя издания имели существенные отличия за счет включения новых материалов, изъятия некоторых текстов и их перегруппировки. В каждой из книг были произведения о беглецах и/или иных народных мстителях. Автор-составитель называл эти повествования *преданиями, сказами, легендами и сказаниями*, подчас употребляя термины как полные синонимы, например:

«предания о <...> чудесных беглецах-мстителях бергальских времен» (бергальцы – горнорабочие. – *И.Ф.*), «темы и образы <...> бергальских сказов» [Мисюрев, 1959, с. 3–4], «возникновение сказаний», «легенда сложилась» и т.п. [Предания и сказы, 1954, с. 24].

Такое свободное обращение с научной терминологией обусловлено слабой разработанностью теории в области несказочной прозы на момент формирования и публикации сборников. Следует также учитывать, что они были предназначены для широкого круга читателей, то есть носили популярный характер, хотя тексты не подвергались литературной обработке, записаны и опубликованы «без изменения содержания, с сохранением лексики и синтаксиса» [Мисюрев, 1959, с. 7].

Вопрос жанровой принадлежности этих произведений требует специального анализа и в данной статье рассматриваться не будет. Повествования о народных мстителях (разбойниках, «благородных разбойниках») мы будем, вслед за В.К. Соколовой, Н.А. Криничной и другими исследователями, именовать *преданиями* [Соколова, 1970; Криничная, 1987].

Цикл повествований под заголовком «Легенда о Лиханове» впервые опубликован в сборнике 1954 году. Формирование данной тематической группы обусловлено событиями истории Томской губернии 1870-х годов. По словам мемуариста В.М. Флоринского, цитируемых Мисюревым, Лиханова боялись по всей Томской губернии и даже в Томске, потому что он грабил «купцов и чиновников». Томская городская дума назначила вознаграждение в размере 300 рублей тому, «кто доставит Лиханова в Томск, живого или мертвого» [Предания и сказы, 1954, с. 25]. Таким образом, наш герой – лицо историческое (в местных масштабах), но мы рассмотрим только то, что сохранила народная память, как повествует о нем устная традиция.

Рассматривая вопросы происхождения и структуры народной исторической прозы, Н.А. Криничная отмечала единую основу образов мифических существ, аборигенов, первопоселенцев, внешних врагов, беглых и разбойников [Криничная, 1987, с. 175], коренящуюся в представлениях об *ином (чужом)* мире и подвергающуюся постепенной трансформации: «По мере развития образа идеализируемого героя в его структуре исчезают мифологические элементы и возрастает роль реалистических» [Криничная, 1987, с. 177]. Данный процесс, как установлено в ряде исследований, не имеет конечной фазы, поскольку «демифологизация всегда бывает неполной, относительной», а некоторые черты мифологического мышления «сохраняются в массовом созна-

нии» и в современности [Мелетинский, 1998, с. 419–421], что нашло отражение в рассматриваемой прозе.

В тексте «Из сиротства», открывающем подборку, рассказывается о происхождении Лиханова:

«Он воспитанник был у богатого ямщика в Минайловой. Тот его из сиротства взял. А кто говорит – был девичий сын».

В комментарии Мисюрев поясняет, что *девичий сын*, то есть рожденный вне официального брака, не мог наследовать имущество отца, поэтому «зачастую должен был стать батраком или же оказывался за пределами общества, в мире отверженных. Легенда отразила эти социально-бытовые явления своего времени, но в нее мог также проникнуть отголосок древнейших мифов о чудесном рождении героя от девы» [Предания и сказы, 1954, с. 25]. Предположение автора сборника о наличии *мифологического* мотива в тексте повествования вызывает уважение и заслуживает особого рассмотрения. Мотив *рождения от девы*, то есть *чудесного зачатия*, вводит текст в круг произведений христианской тематики. Иначе говоря, составитель в завуалированной форме намечает в образе Лиханова мотивы народного *заступника, спасителя*.

На наш взгляд, более важным здесь является мотив *сиротства*, также имеющий мифологическую основу. Еще в 1926 году В.Г. Богораз-Тан отмечал его архаику на материале мифов и ритуалов народов Сибири [Богораз-Тан, 1926, с. 67–76], позднее Е.М. Мелетинский детально исследовал генезис мотивов *сироты, падчерицы*, привлекая в ряде случаев работы Богораз-Тана [Мелетинский, 1958].

Обобщение накопленных знаний о значении *сиротства* можно отыскать в новейших энциклопедиях и словарях. Так, Е.Е. Левкиевская отмечает, что сирота – «социально и ритуально маргинальное лицо, имеющее статус посредника между людьми и Богом»; подобно нищему, сирота считался «лишенным доли», а русские пословицы отражают особое Божественное покровительство сиротам, например: «Дал Господь сиротинке роток – даст и хлеба кусок» [Славянские древности, 2009, т. 4, с. 641–642]. Е.В. Харитоновна подчеркивает, что «в онтологическом плане сиротство соотносится с одиночеством, безродностью и бесприютностью. В плане социальной семантики сиротство понимается как бессемейность, обездоленность и социальная незащищенность» [Харитоновна, 2007, с. 368–370]. Таким образом, мотивы *девичий сын* и *сирота* являются в данном случае тождественными по значению.

В некоторых текстах героя называют не Лихановым, а Алиханом, Алиханчиком, иногда даже в пределах одного произведения: *«Алиханчик на крыльцо вышел»*.

– *Вот я – Лиханов. Коль надо – берите»* («Беднота не выдавала») [Предания и сказы, 1954, с. 28]. В одном из комментариев Мисюров в связи с вариативностью именованя главного героя поясняет, что это «идет от томских татар, переиначивших по-своему русскую фамилию» [Предания и сказы, 1954, с. 26]. Здесь возникает вопрос об этимологии: возможно, фамилия персонажа восходит к имени *Али-хана*, то есть имеет татарское происхождение. Если фамилия русская, то сам факт усвоения традицией татарского имени обнаруживает наличие мотива *чужого* в образе народного мстителя. В обоих случаях в образе Лиханова изначально имеются мотивы *чужого*, обусловленные не только его разбойничьими действиями, но и предположительно иной этнической принадлежностью.

Носители устной традиции постоянно подчеркивают, что *«он бедных не обижал, он богатых обижал»*. В тексте «Наборная уздечка» об этом рассказывается так: *«Был Мразовский – из ссыльных поляков, у него была узда наборная. Алиханчик взял – узда пондобилась, сам уехал богатыньких обирать»*, однако через какое-то время на вещь возвращается: *«Пришел Лиханов. Узду несет Мразовскому. – Вот, говорит, – твоя узда. Ты что думал, не отдам?»* [Предания и сказы, 1954, с. 25–26].

Весь ход безыскусного повествования показывает, что питать надежды на возвращение вряд ли стоило: уздечка была особого вида и качества, а владел ею человек совершенно бесправный (ссыльный поляк). Алиханчик просто *взял* пондобившуюся вещь, он *берет* плату и с приемного отца за пропуск его обозов по тракту, как со всех остальных богатеев, хотя подобный поступок идет вразрез и с народной традицией почитания родителей, и с христианскими заповедями («Из сиротства») [Предания и сказы, 1954, с. 25]. Таким образом, герой, несмотря на усыновление, продолжает осознавать себя одиноким, бессмейным и самостоятельно пытается получить свою *долю*, не доставшуюся от рождения.

Мотив помощи бедным есть в нескольких преданиях: герой раздает штаны *«голопузым»* ребятишкам («Ребятишек награждал»), многодетного ямщика снабжает деньгами на покупку лошади и коровы («На лошаденку, на коровенку»), отбирает деньги у пьяных купеческих сынков и все их сразу же раздает бедноте: *«Он так давал: если коровы*

нет – дает на корову, только смотри, не пропей, а то несдобровать» («Беднота не выдавала») [Предания и сказы, 1954, с. 26–28].

Большой интерес вызывает предание «Лиханов и старуха». Открывает текст сообщение, что «*Лиханов на рыжем коне ездил. Его невидимкой считали. У купцов отбирал, жертвовал бедноте*», однако сами действия народного заступника поначалу выглядят довольно странно: он догоняет на тракте дряхлую старуху, которую везет «*конь еле живой, кожа да кости, ободранный, весь в парше*». Лиханов заставляет старуху обмазать коня сметаной, предназначенной для продажи, а в ответ на ее слезы и сетования отвечает:

«– Ох ты, старуха! Не реви, на триста рублей!

Сунул ей деньги, сам ускакал. Старуха зажила хорошо, и денег ей до смерти хватило, и лошадь поправилась: от парши сметана-то помогла» [Предания и сказы, 1954, с. 29].

Финальная часть повествования органично сопрягается со вступительной: мотив *невидимости* героя предполагает наличие и других магических способностей, поэтому он способен излечить *еле живого, кожа да кости* коня обычной сметаной. Хотелось бы отметить, что в данном случае Лиханов стремится, в первую очередь, спасти именно эту несчастную *клячу*, в обращении к старухе чувствуется упрек: «*Эх ты, бабка! До чего со своей клячей дожила!*», деньги же дает позже, чтобы возместить потерю сметаны. Видимо, в заботе о коне сказывается связь героя с ямщицкой средой.

У самого Лиханова конь *рыжий*, то есть *красный*. Аналогичный мотив есть и в повествовании о беглецах Третьяковых, записанном в горнозаводской среде [Легенды и были, 1940, № 18]. По материалам Е.Е. Левкиевской, в народной культуре «считалось, что в хозяйстве хорошо вестить может лишь скот определенной масти. Обычно полагали, что масть скота должна совпадать с цветом волос хозяина...» [Славянские древности, 2004, т. 3, с. 199].

Рассказчики ничего не сообщают о внешнем виде Лиханова (портретные характеристики, рост, фигура, одежда и прочее остаются неизвестными), в то же время устойчивым элементом облика разбойника в народной традиции является *красная* рубашка, о чем свидетельствуют описания внешнего вида актеров в народных драмах: «Атаман, грозного вида, в красной рубашке, черной поддевке <...>» («Лодка») [Народный театр, 1991, с. 65]; «Атаман Черный Ворон <...> Его костюм: красная кумачовая рубашка, синяя или черная суконная поддевка, черные брюки с красными лампасами <...>» («Черный Ворон») [Народный театр, 1991, с. 73] и т.д. Наличие красной рубахи не слу-

чайно, потому что *красный* – цвет крови, а разбою всегда сопутствует кровопролитие.

Черный, белый, красный цвета характерны при описании облика мифологических персонажей, наличие подобных мотивов в образе *героя преданий* (исторического лица) лишний раз подчеркивает мировоззренческое единство всех жанров народной несказочной прозы, в частности преданий и суеверных рассказов [Феоктистова, 1999, с. 6–8]. Некоторые цвета в традиции имеют синонимичное значение, например *черный* и *синий* (см. выше), также *красный, рыжий, желтый, золотой*.

Как отмечал В.Я. Пропп, *золотой* цвет связан с представлением о другом мире – «все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает свою принадлежность к иному царству» [Пропп, 1986, с. 285]. Обобщая материалы славянского фольклора, О.В. Белова пишет, что «символика красного цвета и его оттенков (от желтого до коричневого) – амбивалентна. Красный – цвет жизни, солнца, плодородия, здоровья и цвет потустороннего мира, хтонических и демонических персонажей» [Славянские древности, 1999, т. 2, с. 647]. Следовательно, мотив *рыжей (красной)* масти коня соответствует образу народного мстителя, *разбойника*.

Образ коня в ямщицких преданиях заслуживает специального анализа, поскольку в нем можно обнаружить былинные и сказочные мотивы. На это обратил внимание сам Мисюрев, рассматривая параллели с эпосом в преданиях о Третьяковых и Криволуцком: кони беглецов «*геройские*», передвигаются с огромной быстротой и легко преодолевают препятствия, понимают приказы хозяина с полуслова [Мисюрев, 1940, с. 34–35].

В предании «У губернатора» также гиперболизируется скорость передвижения всадника. Лиханов, за поимку которого назначена награда, лично является к губернатору, обещая поймать злодея: «*Ну, он деньги берет и говорит:*

– *А ведь я и есть Лиханов.*

Губернатор глаза выпучил, руками развел. Лиханов – сразу на коня, и был таков» [Предания и сказы, 1954, с. 26].

Восьмой текст цикла специально посвящен описанию коня героя:

«*Алиханчик едет – топоток не слышать, и как с неба пал – вот те здравствуй! Мужик встретится – он дорожку спросит. Этот укажет, а он вынимает и дает за спрос сто рублей, а то – двести. Вырастил коня под собой, вскормил пиенницей. Лончаком, сосунком его взял. Один старичок ему сказывал:*

– Ты никуда на нем не езд, покуль с три аришина заплот задней ногой не заденет, подкову не оставит, тогда – езжай.

Так и вышло. Конь заплот подковой заследил, тогда он на нем поехал.

Красивый жеребчик был, грива до ноги, в три кольца. Через Томь прыжки давал – вот какой конь» [Предания и сказы, 1954, с. 29–30].

В комментарии автор сборника пояснил, что «заплот» – это забор и отметил в наказе старичка «отражение ямщицких обычаев испытания зрелости молодых коней» [Предания и сказы, 1954, с. 29–30]. Хотелось бы подчеркнуть, что мотивы *взять сосунком, лично вскормить пшеницей, совет старичка взрастить коня до определенной поры, испытание коня, его красота (большая грива в три кольца), необыкновенные возможности (прыжки через реку)* также имеют явную связь с волшебной сказкой и русским героическим эпосом. По справедливому замечанию В.Я. Проппа, «выкармливание коня – частный случай выкармливания чудесных или волшебных животных», исследователь указывал на «тотемическое происхождение этого мотива». Жеребенка кормят самым дорогим зерном – «пшеницей белояровой», в результате чего он «превращается в того огненного и сильного красавца, который нужен герою» [Пропп, 1986, с. 171].

В некоторых вариантах былины об исцелении Ильи Муромца повествуется о том, как герой выбирает и растит жеребенка, чтобы тот стал богатырским конем. А.М. Астахова и В.Я. Пропп подчеркивали, что в форме сказки этот сюжет распространен гораздо шире, чем в песенной, а стих былины «явно содержит следы своего прозаического происхождения» [Пропп, 1999, с. 241]. Высота *заплота в три аришина* превышает два метра (аршин равен 0,71 м.), поэтому преодолеть подобное препятствие, даже слегка задев его (*оставить подкову*), может только особенный конь, сродни богатырскому.

Таким образом, мотив выкармливания коня в предании восходит в большей мере к волшебной сказке, а гиперболизация его качеств характерна и для сказки, и для героического эпоса.

Не стоит замалчивать, что пленение Лиханова или его гибель обусловлены действиями обычных людей. В предании «Сошниковы панцири» рассказывается, как на мирском сходе выбирали *обязанных* (тех, кому предназначено на определенное время идти в церковь трапезником, тушить таежные пожары и т.д.). Родион Евдокимович Евстигнеев всегда отказывался становиться *обязанным* под тем предлогом, что когда-то он, в отличие от других, «*Лиханова ловил*», причем не закрывал грудь сошником: «*Стары люди – они Лиханова шибко боя-*

лись, из сошников ладили панцири себе. Без панцирей им его не взять никак.

А убит он на речке Киргизке. Охотник один застрелил его. И будто медной пуговицей» [Предания и сказы, 1954, с. 30].

Это единственный текст, где **подчеркивается** страх людей перед Лихановым. По материалам русского фольклора, В.К. Соколова отмечала, что большая часть преданий о разбойниках (социальных мстителях) рассказывает «о случаях расправы с жестоким баринном или управляющим и о помощи беднякам» [Соколова, 1970, с. 153]. В «Легенде о Лиханове» акцентируется **помощь беднякам**, о расправе, убийствах прямо не говорится, исполнители ни разу не называют Лиханова разбойником, что является специфической особенностью произведений данного цикла.

В повествовании «Обманули» рассказчик передает историю своего деда, услышанную от отца: дед смог захватить Лиханова, потому что у того «*ружьё подмокло*» и дало осечку. Мужчина действовал по приказу властей, но был заинтересован в успехе, поскольку в случае поимки «*подать никакую платить не будет до смерти*». Власти, конечно же, своего обещания не выполнили:

«Лиханов стрелил – хлоп, осечка. Тогда говорит:

– Ну, – говорит, – Денисов, бери меня.

А с податью обманули. Все равно дед платил и платил. Бывало, рукой махнет и скажет:

– Лучше бы я его и не брал, Лиханова!..» [Предания и сказы, 1954, с. 30].

Данный текст лишен какой-либо мистики и отличается подчеркнутой обыденностью: Денисов был старшиной, наряду с другими участвовал в облаве, увидел прячущегося Лиханова и его подмокшее оружие, поэтому сумел осуществить захват.

Очевидно, что местные жители не имитировали облаву, а всерьез охотились за этим человеком, беспрекословно выполняя приказ «*взять его в живности*». То же самое мы видим в предании «Беднота не выдавала», начинающемся примечательными словами: «*Его ловить двести человек были собраны, ловили под Басандайкой*», далее следует рассказ о том, как народный мститель обирал богатых и раздавал награбленное бедным, и завершает повествование довольно неожиданный финал: «*Его беднота не выдавала, прятали его – он и жил, не тужил. Пуля не брала. Потом уж настух его застрелил медной пуговкой*» [Предания и сказы, 1954, с. 28].

Мотив *застрелить медной пуговкой* устойчив, вариативность внутри цикла обнаруживается в том, кто именно осуществил действие: охотник или пастух. В любом случае, как ни парадоксально, это один из тех, чьи интересы Лиханов защищал.

Таким образом, налицо двойственное отношение простых людей к *защитнику, заступнику бедноты*. Денисов, как явствует из текста, сожалел о своем поступке только потому, что не получил обещанного освобождения от подати. Очевидно, что народное сочувствие имеет свои жесткие рамки и в значительной степени обусловлено личными интересами, поэтому не случаен в предшествующем повествовании мотив неподдельного страха перед Лихановым.

Эта двойственность не акцентировалась ни автором-составителем сборника, ни исследователями, обращавшимися к анализу данного материала. Наибольший интерес вызывал мотив смертоносной *медной пуговицы*. Еще во вступительной статье к сборнику 1940 года, включающему только фольклор горнорабочих, Мисюрев объяснял: «Медь – самый древний металл. В бергальских легендах звучат отголоски древнейших представлений о чудодейственной силе этого металла. Старожилы западносибирских деревень верят в то, что при помощи меди можно уничтожить нечистую силу (оборотней, ведьм)» [Мисюрев, 1940, с. 31].

В издании 1954 года пояснение дается в комментарии к названному выше преданию. Здесь Мисюрев подчеркивал широкое распространение подобного мотива в русских легендах о бунтарях, например о Степане Разине, «которого убивают медным крестом. Медный предмет, употребленный вместо пули, приобретает значение эмблемы власти церкви и помещичьего государства, совместно карающих колдуна-бунтаря» [Предания и сказы, 1954, с. 28], далее автор развивал мысль о том, что народное суеверие о меди «было, по-видимому, использовано врагами освободительных движений в целях пропаганды против бунтарей. О них распространялась молва, что они поддерживают сношения с нечистой силой, являются колдунами. Это делалось для того, чтобы оттолкнуть от бунтарей народные массы» [Предания и сказы, 1954, с. 29].

С горечью приходится констатировать усиление цензурного гнета в 1950-е годы: Мисюрев, проявлявший интерес к архаичным верованиям, был вынужден сместить акценты в сторону атеистической пропаганды и доказывать, что «не все народно, что живет в народе» [Кравцов, Лазутин, 1983, с. 10].

Мотив «медной пуговицы» неоднократно отмечается исследователями в 1960–1970-е годы, установлена апотропеическая функция некоторых металлов: как подчеркивает В.К. Соколова, по народным верованиям, разбойника или «даже нечистую силу, самого черта» можно убить только серебряной или золотой пулей [Соколова, 1970, с. 168]. Подобный мотив дважды встречается в «Указателе сюжетов русских быличек и бывальщин о мифологических персонажах» С.Г. Айвазян: медной пуговицей можно убить лешего (А, I, 22в) [Айвазян, 1975, с. 169], черт боится медной (серебряной) пуговицы (В, I, 6г) [Айвазян, 1975, с. 178].

В этнолингвистическом словаре «Славянские древности» некоторые сведения о меди помещены в статье Е.Е. Левкиевской «Металлы»: металлы имеют высокий сакральный статус, соотнесены с потусторонним миром, используются «в апотропеической, медицинской и продуцирующей магии <...> для народной традиции релевантными являются **железо, золото, серебро**, медь, олово, ртуть (выделено Е.Е. Левкиевской – *И.Ф.*) <...> Обладая рядом общих свойств, металлы могут то противопоставляться друг другу, то выступать как синонимы. Например, золото, серебро и медь <...> благодаря своему цвету и блеску соотносятся со светом, небесными светилами, высшим божественным началом, часто являясь атрибутами Бога, Богородицы и святых, поэтому в ряде фольклорных текстов и обрядовых действий они образуют единый синонимический ряд или замещают друг друга» [Славянские древности, 2004, т. 3, с. 245].

Можно предположить, что для изготовления особой пули или другого предмета, способного обезвредить/убить человека, наделенного магической силой, необходимо использовать какой-либо из перечисленных выше металлов.

На юге Западной Сибири самым доступным металлом является медь, из нее изготавливали разные предметы быта, в том числе пуговицы. В случае необходимости пуговицу легко можно было оторвать и, зарядив ею ружье, защититься от разбойника. Именно так и поступают безыменные *охотник* либо *пастух*, убивая «заступника», хотя остается неизвестным, защищаются они либо сами охотятся на него. Народная традиция также наделяет охотников и пастухов сверхъестественными способностями, они знают с нечистой силой и одновременно способны ей противостоять (по материалам Е.Е. Левкиевской и А.А. Плотниковой) [Славянские древности, 2004, т. 3, с. 599–604, 637–641].

В заключение необходимо отметить, что Мисюрев удачно скомпоновал тексты, выстроив устно-поэтическую биографию героя: происхождение, обретение коня, действия, гибель / пленение героя. В.К. Соколова подчеркивала: «Рассказы о добрых разбойниках группировались вокруг лиц, особенно зарекомендовавших себя в роли защитников угнетенных <...> В совокупности эти предания давали биографию героя в ее наиболее существенных моментах; в нее входили иногда некоторые действительные факты, в целом же это типологическая биография «благородного» разбойника. Она распадается на три части: I – почему герой стал разбойником; II – описание действий разбойника; III – гибель его» [Соколова, 1970, с. 151–152].

В цикле преданий о Лиханове мы можем выделить в первой части типологической биографии слабо обозначенные мифологические мотивы *сироты, девичьего сына, чужого* (иноэтнического). Во второй, кроме традиционных мотивов *грабежа богатых и защиты бедных*, есть мотивы *магических* качеств героя (способность быть *невидимым, неуловимым*, умение *исцелять*), а также сказочные и былинные мотивы, связанные с изображением коня, мотив *рыжей* масти коня подчеркивает *разбойничью* сущность героя и связь его образа с *иным* миром. Есть упоминание о том, что беднота какое-то время помогала Лиханову скрываться от преследования властей, поэтому отсутствует изображение мифологического пространства, где герой мог бы прятаться. С другой стороны, простые люди, которых он защищал, вынуждены были участвовать в облавах и откровенно боялись Лиханова. О его гибели или пленении (третья часть) говорится очень скупо, устойчивый мотив – смерть от *медной* пуговицы, поскольку мед является действенным средством защиты от нечистой силы.

Анализ семантики мотивов подчеркивает сложность образа народного мстителя, обнаруживая сопряжение противоречивых качеств. Исторические реалии накладываются на издревле существующую мифологическую основу, мало что в ней меняя, лишь добавляя некоторые специфические черты. В советский период настоятельно требовалась, напротив, *идеологическая чистота, однозначность* образа такого героя, имеющая следствием его *обеднение и натяжки в истолковании генезиса мотивов*.

Сопроводительные авторские материалы к сборникам обнаруживают изменение взглядов Александра Мисюрева на рабочий фольклор, его специфику, генезис отдельных мотивов, обусловленное цензурой. Издание 1959 года, к которому обращались многие исследователи, включает весьма краткое вступительное слово составителя и самый

бедный в научном плане комментарий. Сборники, вышедшие в свет после смерти Мисюрева, базировались на издании 1959 года, имели популярный характер [Мисюрев, 1989].

После всплеска интереса к русской сказочной прозе юга Западной Сибири долгое время не было специальных публикаций по данной теме, только авторы учебников упоминали некоторые тексты в главах, посвященных изучению рабочего фольклора. В 2001 году В.П. Аникин актуализировал материалы Мисюрева и уделил им значительное внимание в главе «Устная проза» учебника для студентов университетов [Аникин, 2001, с. 284–287].

Считаем, что вклад сибирского собирателя в развитие отечественной фольклористики пока не оценен в полной мере. Повествования, записанные и опубликованные А.А. Мисюревым, должны быть исследованы с позиций современной науки. Эту задачу мы постараемся поэтапно решить в следующих публикациях.

Литература

- Азбелев С.Н. О жанровом составе прозаического фольклора русских рабочих // Устная поэзия рабочих России. М.–Л., 1965.
- Айвазян С.Г. Указатель сюжетов русских быличек и бывальщин о мифологических персонажах // Померанцева Э.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975.
- Аникин В.П. Русское устное народное творчество. М., 2001.
- Богораз-Тан В.Г. Миф об умирающем и воскресающем звере // Художественный фольклор. 1926. № 1.
- Гельгардт Р.Р. Фольклорно-лингвистические связи и параллели // Устная поэзия рабочих России. М.–Л., 1965.
- Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. М., 1983.
- Криничная Н.А. Русская народная историческая проза : Вопросы генезиса и структуры. Л., 1987.
- Кругляшова В.П. Жанры сказочной прозы уральского горнозаводского фольклора. Свердловск, 1974.
- Лазарев А.И. Предания рабочих Урала как художественное явление. Челябинск, 1970.
- Легенды и были. Сказания алтайских мастеровых. Новосибирск, 1938.
- Легенды и были. Фольклор старых горнорабочих Южной и Западной Сибири. Новосибирск, 1940.
- Лозанова А.Н. Поэтическое творчество «рабочих людей» крепостной эпохи // Русское народное поэтическое творчество : в 2-х тт. Т. 2. Кн. 1. М.–Л., 1955.
- Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958.
- Мелетинский Е.М. Миф и двадцатый век // Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М., 1998.
- Мисюрев А.А. Легенды Горной Кольвани. Барнаул, 1989.
- Мисюрев А.А. О горнозаводском и приисковом фольклоре // Легенды и были. Фольклор старых горнорабочих Южной и Западной Сибири. Новосибирск, 1940.

Мисюров А.А. От собирателя // Сибирские сказы, предания, легенды. Новосибирск, 1959.

Народный театр. М., 1991.

Предания и сказы Западной Сибири. Новосибирск, 1954.

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.

Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 1999.

Сибирские сказы, предания, легенды. Новосибирск, 1959.

Славянские древности : в 5-ти тт. ТТ. 1–4. М., 1995–2009.

Соколова В.К. Русские исторические предания. М., 1970.

Феоктистова И.К. Образ исчезнувших аборигенов в русских преданиях: система мифологических мотивов // Филологический ежегодник. Омск, 1999. Вып. 2.

Харитоновна Е.В. Сироты, сиротство // Бажовская энциклопедия, Екатеринбург, 2007.

СОБИРАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ АЛТАЙСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

М.А. Демчинова

Ключевые слова: Алтай, народная песня, публикация, исполнитель, жанр, анализ.

Keywords: Altai, folk songs, publications, performer, genre, analysis.

Алтайская народная песня – один из самых распространенных фольклорных жанров алтайской народной поэзии. Их письменная фиксация и публикации начались со второй половины XIX века.

Самые ранние записи фольклорных песен были осуществлены В.В. Радловым при участии алтайского писателя-просветителя М.В. Чевалкова. Данные материалы вышли в свет в книге В.В. Радлова «Образцы народной литературы тюркских племен Южной Сибири и Дзунгарской степи» (Т. I, Спб., 1866) и этнографическом сборнике В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы» (М., 1893). В.В. Радлов в своем исследовании «О формах связанной речи у алтайских татар» проанализировал характер исполнения и ритмико-интонационную структуру исторических и лирических песен и пришел к выводу, что в песенной поэзии алтайских тюрков не выражена конечная рифма, а ее заменяет начальная аллитерация [Radloff, 1866, s. 86].

В книге «Образцы народной литературы тюркских племен Южной Сибири и Дзунгарской степи» в разделе «Песня» первыми по счету

помещены крупные по объему песенные произведения «Канза-Пий» («Канза-Господин»), «Мырат-Пий» («Мырат-Господин»), «Ак-К,б,к», «Саксы Бай» («Саксы Богач»), «Пеш казак» («Пятеро казаков»), «Пий Таш» («Господин Таш»), а также ряд необрядовых и обрядовых песен. Первые пять песен – произведения, относящиеся к историческим песням. В них повествования ведутся вокруг имени исторических лиц, якобы живших в ту или иную историческую эпоху, деяния которых связаны с конкретными событиями народной жизни.

Следует заметить, что народную песенную поэзию алтайцев и теленгитов В.В. Радлов объединил под народным термином *«кожоу»* («песня», который, по нашему предположению, образован от слова *«кош»*), функционирующего в следующих значениях: «дополнительный», «рядом стоящий», «добавочный», «прибавочный», «прибавленный»; «нарастающий», нарастающий и т.п., что отражает способ образования песенной структуры с помощью образного параллелизма и его вариационного описания одного и того же явления.

В исследованиях алтайских ученых-фольклористов (Т.С. Тюхтенов «Алтайские народные песни», С.С. Суразаков «Алтайский фольклор») отмечено, что миссионерская деятельность В.И. Вербицкого дала ему огромную возможность изучить быт, обычаи, традиции, язык и фольклор алтайцев, живя непосредственно в их среде (XX веке).

В первой научной грамматике алтайского языка, составленной В.И. Вербицким и вышедшей в 1869 году в Казани, народные песни послужили яркими примерами для демонстрации грамматических особенностей народного языка. Именно «песни народные», по определению самого народа, являются *«көгестив көрнөбзи»* – «раскаленным углем души», то есть песни – это наидоступнейшая, самая распространенная, близкая всем форма поэтического выражения человеческих переживаний.

Судя по записям и переводам, исследователь стремился к исключительной достоверности содержания записываемых текстов с сохранением особенностей разговорного языка, несмотря на некоторые погрешности в фиксации.

В книге В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы» содержатся 29 песен, из них только одна связана с родильным обрядом, а все остальные песни, на наш взгляд, являются необрядовыми. В предисловии автор выделил тематические особенности песен и изучил исполнительское мастерство алтайских песенников, он очень точно отмечает тот печальный «песенный настрой» народа, который царил в XIX веке. По

данным образцам песен можно судить, каково было в то время народу, у которого родина – Алтай была разорена в результате вражеских набегов. Даже автор книги, возможно, неслучайно на первое место выдвинул «Песню о разорении Алтая», которая на протяжении ста с лишним лет звучал как народный гимн. Заметим, что расположение народных песен в книге В.И. Вербицкого произведено по заложенной к тому времени Радловым традиции – помещение первыми песен исторического характера.

В «Грамматике алтайского языка» Вербицкого вторая по счету «Тюремная песня алтайского богатыря Канзы» явно свидетельствует о тех событиях, которые происходили на тогдашних «инородческих» окраинах России: заключение «инородцев» в тюрьму за тот или иной проступок, болезненная психологическая адаптация «инородца» к новым социально-политическим, культурно-историческим условиям жизни российской империи, и, как следствие этого, протест в той или иной форме. Далее одни лишь названия песен, не говоря уже о содержании», действительно наводят человека, читающего их, на печальные раздумья («Плач о потере мужа», «Жалоба влюбленных», «Разлука с супругом», «Жалоба на одиночество», «Ожидание родного», «Плач о потере сына», «Надежда сироты», «Ожидание родителей», «Разлука с дочерью», «Сострадание птицам»). К сожалению, невозможно установить, кто исполнители этих песен, один человек или ряд исполнителей. По всей видимости, данные скорбного характера песни были самыми распространенными еще в то далекое для нас время. Они бытуют в народе и по сей день во множестве вариантов и версий.

В.И. Вербицкий называет алтайцев «склонными к пению и музыке» и многих из них импровизаторами, что характерно песенной традиции алтайцев. Традиция импровизаторства не утрачена и поныне. Но при этом нельзя отрицать тот факт, что алтайские песни, особенно в советское время, стали угасать вследствие принятия их идеологами того времени за «пережиток старого», и песенная традиция исчезала вместе с уходом из жизни пожилых знатоков фольклора, хотя в реальной же жизни самым «живучим» жанром устного творчества считалась народная песня.

В первой половине XX века самыми крупными и скрупулезными собирателями и исследователями алтайской народной песенной поэзии были А.В. Анохин и Н.П. Дыренкова, имена которых давно известны в отечественной науке. По оценкам Т.С. Тюхтенева, А.В. Анохин внес огромный вклад в дело собирания, изучения песен тюркоязычных народов Сибири: «В течение тридцати лет он изучал быт, обычаи, ве-

рования народов Сибири (алтайцев, шорцев, телеутов), собирал музыкальный фольклор. Только у алтайских племен Анохиным записано более 500 народных песен и около 800 мелодий» [Тюхтенов, 1972, с. 8].

Тексты песен, которые были собраны Анохиным и Дырэнковой, отличаются тем, что они записаны на латинской графике, функционировавшей в то время в сфере алтайской письменности. Особо следует отметить, что песни в данной коллекции имеют, хотя не полную, но научную паспортизацию, а это представляет огромную ценность для современной науки.

Тексты народных песен в записях XIX века В.И. Вербицкого, В.В. Радлова, а также XX века – А.В. Анохина, Н.П. Дырэнковой с их историческими особенностями графического оформления, грамматического строя, лексико-семантического уровня стали своеобразными историко-культурными памятниками, которые служат материалами для сопоставительного изучения песенной традиции во времени, для выявления определенного песенного репертуара того или иного отрезка истории фольклора, их особенностей и соотношения между традицией и современностью. В какой-то мере в них отразилась история развития алтайской письменности (переход от кириллицы к латинице и обратно), что оказало огромное влияние на историю письменной фиксации фольклора.

С установлением советской власти в Горном Алтае началось издание газет на национальном языке «Кызыл Ойрот» («Красная Ойротия», 1925), «Белен бол» («Будь готов»), «Ойроттын комсомолы» («Комсомол Ойротии»). С этого момента и до современности («Алтайдын Чолмоны») периодическая печать стала одной из самых доступных форм публикации не только народных песен, но и всего фольклора алтайцев. Немаловажную роль в пропаганде народных песен сыграло и национальное радиовещание, которое опиралось на собирательскую и исполнительскую работу вокально-инструментального ансамбля под руководством А.Ф. Хитрова (вторая половина 30-х годов).

Великая Отечественная война для народной песни, с одной стороны, стала величайшим «тормозом», поскольку она унесла жизнь многих песенников и других носителей алтайского фольклора. Была приостановлена собирательская деятельность и публикация песен. С другой стороны, война породила огромное количество народных песен, которые позже были собраны и опубликованы в трудах алтайских фольклористов Т.С. Тюхтенева (Алтайские народные песни, 1972) и И.Б. Шинжина (Песни огненных лет, 2001).

Новый этап собирания и изучения фольклорного наследия для этносов Алтая интенсивнее начинается с 1952 года, когда на Алтае был учрежден Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы. В это время целенаправленно стали готовиться научные кадры. Руководством института большое значение придавалось собирательской деятельности. Для участия в специальных научно-комплексных экспедициях института привлекались работники и студенты учебных заведений и научных учреждений. Собиратели-энтузиасты ученым-фольклористам С.С. Суразакову, Т.С. Тюхтеневу присылали письма, в которых имелись записи народных песен и других жанров фольклора. Собранные таким образом песни были опубликованы в следующих изданиях: «Кожондор» («Песни») – К. Горно-Алтайск, 1955; «Песни Горного Алтая» – ПГА. Горно-Алтайск, 1957; «Алтай албатынын кожондоры» («Алтайские народные песни») – АНП. Горно-Алтайск, 1959; «Народные песни алтайцев» – НПА. Горно-Алтайск, 1962 и др.

Первым полновесным исследованием народных песен алтайцев является работа Т.С. Тюхтенева (1923-1974) «Алтайские народные песни», где подвергнуты научному анализу труды дореволюционных и постреволюционных ученых, дана научная классификация и анализ алтайских народных песен в рамках их традиционного изучения.

В связи с выводами В.В. Радлова в его статье «О формах связанной речи у алтайских татар» и утверждениями В.И. Вербицкого в книге «Алтайские инородцы» об особенностях тюркской поэзии (об аллитерации и конечной рифме) Т.С. Тюхтенов писал: «Хотя мы отмечали, что конечная рифма в алтайском песенном творчестве появилась позднее начальной, тем не менее, она наличествует в народных песенных текстах, изданных В.В. Радловым и В.И. Вербицким. Но почему-то эти ученые отрицали наличие конечной рифмы в алтайских народных песнях. В.В. Радлов отмечал, что в устной поэзии тюркоязычных народов Севера и Алтая мы имеем в стихах начальную аллитерацию, заменяющую конечную рифму. А В.И. Вербицкий писал, что «о хвостах» (конечная рифма) алтаец не тужит, у него были бы согласны «головы» (анафора). Это неправильное утверждение: для алтайца важны песни, как с начальными, так и конечными рифмами. Без них песня считается неполноценной. Поэтому народные песни он создал как с начальными, так и конечными рифмами» [Тюхтенов, 1972, с. 89].

В 30-е и 40-е годы алтайские народные песни активно собирал телеутский музыкант Т.С. Сыркашев. Он оставил немало интереснейших записей песенных текстов и их нотировок (ФМ-54а,

546), которые демонстрируют особенности процесса сбора, нотировки и своеобразной интерпретации народных песен.

Бесценный вклад в алтайскую науку внес К.И. Максимов (житель города Заринск Алтайского края, учитель-языковед) тем, что он в 70-80-е годы собрал фольклор заринских телеутов и сдал в архив тогда Горно-Алтайского научно-исследовательского института истории, языка и литературы (ныне Института алтаистики им. С.С. Суразакова). В 1995 году материалы К.И. Максимова изданы Институтом алтаистики в виде сборника текстов («Алтайский фольклор»), составитель, автор предисловия и примечаний Т.М. Садалова. В данной книге содержатся телеутские народные песни обрядового и необрядового характера. Собирателем К.И. Максимов, в совершенстве владевший родным языком, оставил ценные записи песен с сохранением диалектных особенностей, особенностей строя устно-поэтической речи, а также произвел научную паспортизацию текстов.

Собирателем песен был отличный знаток алтайского языка и фольклора Е.М. Чапыев. Он лично сам охотно исполнял песни разных диалектов, будучи обладателем исключительной памяти, вмещающей более 300 песен традиционного клишированного стиля, и в то же время занимался импровизацией на разные темы. Плодом его активного и любознательного труда стал сборник алтайских народных песен «Кожовдор» (Песни), изданный в 1991 году с нотировкой и комментариями музыковеда Г.Б. Сыченко.

В рамках подготовки алтайских томов академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» были проведены специальные комплексные научные (фольклорно-музыкально-этнографические) экспедиции Института алтаистики им. С.С. Суразакова совместно с Новосибирской консерваторией им. М.И. Глинки и Институтом филологии СО РАН (1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2008), которые стали знаменательными явлениями не только в алтайской науке, но и во всероссийской. В ходе данных экспедиций зафиксировано более 800 единиц алтайских народных песен необрядового характера. Архивный фонд ИА пополнился новыми материалами на всех диалектах алтайского языка в живом звучании, что дало огромную возможность издавать песни разных лет в их различных вариантах, версиях, повторных и одновременных записях.

В 2009 году Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова РА в рамках проекта «Изучение современного состояния культуры народа в изменяющихся мировоззренческих условиях» (08-04-18031е) при под-

держке РГНФ (Центр) проведены экспедиции в Усть-Канском, Онгудайском и Улаганском районах, в ходе которых собраны и обработаны около 300 новых песен, записанных на современные носители.

Активные собиратели чалканского фольклора – А.М. Кандаракова (Пустогачева) (по профессии учительница) и сотрудник Горно-Алтайского института повышения квалификации учителей, кандидат исторических наук Е.П. Кандаракова. Они же – участники научной экспедиции, организованной ИА в 1989 году в Турачакский район. А.М. Кандаракова и Е.П. Кандаракова не только собиратели, но и замечательные исполнители чалканских народных песен. Результатом собирательской деятельности Е.П. Кандараковой явился сборник текстов фольклора на чалканском диалекте с переводом на русский язык «Алтайский фольклор» (1988), куда вошли 26 песен на разные темы.

Известный этнограф Алтая Ф.А. Сатлаев, автор историко-этнографического очерка «Кумандинцы», активный собиратель и знаток-исполнитель кумандинских народных песен, писал, что у кумандинцев наиболее распространенным типом песен был *тактак*, состоящий из четверостишия или восьмистишия и исполняющийся теперь под аккомпанемент балалайки и гармони, а в старину их пели под игру на *комусе* [Сатлаев, 1974, с. 142].

В 1971 году выходит сборник текстов алтайских народных песен с нотировкой, составленный сибирским композитором А.М. Ильиным. О его работе Т.С. Тюхтенов написал следующее: «С 1935 года песенно-музыкальной культурой алтайцев занимался сибирский композитор А.М. Ильин. Им собрано большое количество народных песен и наигрышей. Многие из них творчески разработаны и звучат в крупных произведениях, например, в музыкальной драме «Чейнеш», балете «Шелковая кисточка», «Алтайской сюите» [АНП, 1971, с. 11]. Интересно отметить, что работа композитора была тесно связана с песенно-музыкальной деятельностью писателя П.В. Кучияка. От него А.М. Ильин услышал много интересных напевов и наигрышей. Известно, что П.В. Кучияк был большим знатоком алтайского фольклора и обладал хорошими музыкальными способностями. Он играл на всех национальных инструментах и был талантливым импровизатором» [Тюхтенов, 1972, с. 11].

В фундаментальном труде фольклориста Т.С. Тюхтенева народная поэзия алтайцев рассмотрена в следующей идейно-тематической последовательности: исторические песни, трудовые песни, семейно-бытовые песни (свадебные, величальные, лирические, любовные, игро-

вые песни) и социально-сатирические. Особое место в исследовании автора занимают песенные состязания – «*сӧгүш кожоу*». Поэтические особенности алтайских народных песен, по мнению ученого, представляют ведущее в них художественное средство – обычный параллелизм («излюбленный прием в народных произведениях»), который основан «на своеобразных художественных картинах», созданных народом в соответствии с его особым видением природных реалий, жизненных фактов через призму собственных ощущений, чувств и переживаний.

Из выразительных средств языка алтайских народных песен Т.С. Тюхтеновым проанализированы такие, как эпитеты (простые, постоянные, усиливающие, метафорические), гиперболы, сравнения, различные повторы, частично сделаны попытки изучения стихосложения алтайских народных песен.

В современном этно-бытовом контексте народные песни алтайцев существуют под общим названием *кожоу*. В диалектных языках бытуют следующие определения: в телеутском, чалканском диалектах общее название песен – *сарын, кожоу*, кумандинском – *такпак*; алтайском – *кожоу, фавар кожоу*, теленгитском – *кожоу, табышпак (табыскак) кожоу*. По композиционной структуре народные песни бывают «долгими» и «короткими» и названия соответственно – «*узун кожоу, узун сарын*», «*кыска кожоу, кыска сарын*», а по темпу мелодического звучания – «длинные песни с протяжным напевом и короткие с быстрой, бойкой мелодией» [Тюхтенов, 1972, с. 15].

Своего рода разновидностью народных песен выступают «*жавар кожоу*». Этот термин, на наш взгляд, возник по определению характера исполнения песен, то есть петь свободно, широко, раздольно, торжественно с оптимизмом, привольно, поскольку такие песни по глубинной традиции должны быть позитивного настроения, воспевательного, величального стиля. В подтверждение этому можно привести выражение «*жавыландыра кожоу идоор*» – букв.: петь, вызывая эхо. Слово *жавы* обозначает эхо. А эхо вызывается как раз групповым исполнением «*жавар*», когда песня не прерывается за счет способа ее исполнения (подхватывания). Если обратиться к этимологии слова «*жавар*», то можно обнаружить любопытное сочетание «*жавы - ыр*» – «эхо – песня». Обозначение песни словом *ыр* находим в тувинском языке, обратимся в словарную статью тувинско-русского словаря: *ыр*. 1 песня // песенный; *улустыу ыр чогаалы* песенное народное творчество [ТРС, 1968, с. 598].

«*Јавар кожо*» в основе своей, видимо, восходит к древним обрядовым песням, посвященным воспеванию различных божеств. И поэтому во время распространения на Алтае вероучения бурханизм, его песенным воплощением стала именно «*јавар кожо*» – «песня дьангар», то есть служения верующих сопровождалась групповым исполнением песен-дьянгар. Непрерывная продолжительность их во времени и приближенность к гимническому интонированию вызывали у публики ощущение особой торжественности и оптимизма.

У телеутов короткие песни именуются *такпак*, *тандыр*, *секирмеплясовые*, у чалканцев и кумандинцев – *такпак* [Суразаков, 1975, с. 82]. У центральных алтайцев и теленгитов плясовые песни по структуре и мелодике близки к частушкам, но со своеобразием оттенков в мелодическом оформлении.

«*Кыска сарын*, *кыска кожо*» – «короткие песни» могут состоять из четверостишия, посвященного одной определенной теме или восьмистишия, образующего двухкуплетную песню по четыре строки в каждом, последнее четверостишие становится вариационным дополнением первого. К «коротким» песням относятся *табыскак* (*табышкак*), *такпак* и все виды плясовых песен, к долгим – песни, представляющие собой объемные повествования на определенную тему.

Термином *табышкак* (*табыскак*) *кожо* обозначаются песни свободной импровизации и сам процесс импровизации, а также процесс песенного состязания на лучшую импровизацию – находчивость в песенном словотворчестве.

В алтайском фольклоре под названием *табышкак* (*табыскак*) по отношению к песням употребляется в значении «песенная загадка», состязание в умении загадывать песней, строить песни-загадки, дословно «находить песни» и «отгадывать песни», то есть умело понять смысл песни-загадки, отвечать им достойной импровизацией. В исследовании Т.С. Тютенева имеется очень проницательный анализ «песенных состязаний», в котором говорится, что в старину особо ценилось исполнение своеобразного вида алтайских народных песен – состязаний между двумя лицами или группой певцов, демонстрирующих их остроту ума и образность песенной речи. Песни-состязания продолжались до тех пор, пока один из певцов не умолкал, исчерпав свое песнетворчество.

Известный русский писатель В.Я. Шишков в своем автобиографическом труде отмечал, что теленгитские песенники и сказители состязались в течение трех дней и трех ночей (разрядка наша – М.Д.) [Шишков, 1928, с. 59].

До сегодняшнего времени в памяти народа сохранились имена до-революционных алтайских певцов: Калан, Колонды, Созын, Астам, бродячий певец Чолтуков Муклай и др. Они являлись желанными участниками народных гуляний, свадеб и других торжеств. Песенные состязания устраивались на фоне торжественных празднеств с присутствием большого количества людей, которые могли по достоинству оценить мастерство состязающихся певцов. При этом, конечно же, во внимание особо принимались такие качества, как природные способности, жизненный и творческий опыт, в результате которых обретыены большие и глубинные знания, сопряженные с остротой, глубиной и емкостью мысли, овладение способностями «осаждать» своего соперника, умение выражать чуткие мысли народа о его судьбе, потребностях, требованиях ко времени и т.д.

Песенные состязания чалканцы еще называют «*кӧр сарын*». В лингвистическом труде Н.А. Баскакова «Диалект лебединских татар-чалканцев... / куу-кижи» говорится: «*кӧр сарын*» – состязание, в котором две стороны хулят одна другую или насмеваются друг над другом» [Баскаков, 1985, с. 194]. В данном случае, на наш взгляд, подчеркнута одна из функциональных особенностей песен-состязаний, когда содержанием их становится нарочитое или явное «бичевание» исполнителями друг друга, что зависит от их конкретно поставленной цели в определенной ситуации.

Как мы выше отмечали, у северных алтайцев песни функционируют еще и под названием *сарын*. В связи с данной терминологией наблюдается, что Чуйские и Улаганские теленгиты термином *сарын* маркируют церковные песни и молитвы. Отталкиваясь от этого факта можно предположить, что первоначальное значение слова *сарын* восходит к древнетюркскому SARIT: *sarit qil* – декламировать, скандировать [ДТС, с. 489]. В словарной статье далее приводятся примеры, подтверждающие факты о том, что с декламацией читается сутра (это в данном случае соответствует чтению молитвы), а магические формулы – исполняются со скандированием. Из этого следует, что слово *сарын* на первоначальном этапе бытования в языке алтайцев обозначало божественное песнопение, песни религиозного величального содержания, а затем приобрело многозначность и стало синонимическим обозначением понятия *песня-кожоу*.

Алтайские народные песни исполняются сольно или группой, а также, как выше отмечалось, «песенными диалогами» между двумя лицами в свободной импровизации. Принародное сольное исполнение народных песен – это один из очень ответственных моментов в жизни певцов. На арену исполнения выходят даровитые певцы, обладающие

признанным народом способностями, талантом, как говорится, «свыше». Народные певцы – это очень волевые, жизнерадостные, всегда оптимистически настроенные люди, которые ставятся в пример молодым поколениям. Они обычно являются ведущими при групповом исполнении.

Таким образом, следует отметить, что исследование алтайских народных песен в тех условиях, когда кардинально меняется мировоззрение не только алтайцев, но и всех российских народов, только началось и ждет незамедлительного продолжения.

Условные сокращения опубликованных источников

- АНП – «Алтай албатынынг кожондоры» («Алтайские народные песни») / Сост. А. Борбуев, А. Тыдыков и др. Горно-Алтайск, 1959.
АНП – Алтайские народные песни. Сб. текстов песен. Нотировка А.И. Ильина. Горно-Алтайск, 1971.
АФ – Алтайский фольклор / Сост. Е.П. Кандаракова. Горно-Алтайск, 1988.
АФ – Алтайский фольклор / Сост. и авт. предисл. Т.М. Садалова Горно-Алтайск, 1995.
ДТС – Древнетюркский словарь. Л., 1969.
К – Кожондор (Песни). Горно-Алтайск, 1955.
НПА – Народные песни алтайцев. Горно-Алтайск, 1962.
ПГА – Песни Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1957.
ТРС – Тувинско-русский словарь. Кызыл, 1968.

Архивные источники

- ФМ-54а, 54б – Т.С. Сыркашев (Фольклорные материалы, №№ папок 54а, 54б).

Литература

- Баскаков Н.А. Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект лебединых татар-чалканцев // куу-кижи. Грамматический очерк, тексты, переводы, словарь. М., 1985.
Вербицкий В.И. «Алтайские инородцы». М., 1893.
Вербицкий В.И. Грамматика алтайского языка. Казань, 1869.
Радлов В.В. «Образцы народной литературы тюркских племен Южной Сибири и Дзунгарской степи». Т. I. Спб., 1866.
Сатлаев Ф.А. Кумандинцы. Горно-Алтайск, 1974.
Суразаков С.С. Алтай фольклор (Алтайский фольклор на алт.яз.). Горно-Алтайск, 1975.
Тюхтенов Т.С. Алтайские народные песни. Горно-Алтайск, 1972.
Шинжин И.Б. Песни огненных лет. Горно-Алтайск, 2001.
Шишков В.Я. Соб.соч. Т. I. М.–Л., 1928.
Radloff W. Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, bd. IV. Berlin, 1866.

ОППОЗИЦИЯ «Я – ДРУГОЙ» КАК ЛИНГВОФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

Е.Ф. Нечаева

Ключевые слова: оппозиция «Я – Другой», лингвофилософская проблема, фундаментальное отношение, предельное понятие, самоидентификация, языковое сознание.

Keywords: opposition “The I – The Other”, linguistic-philosophical problem, fundamental relation, terminative idea, self-identification, linguistic consciousness.

Междисциплинарный синтез составляет сегодня основу гуманитарных исследований. Взаимосвязь таких научных дисциплин как философия, психология, лингвистика становится абсолютно очевидной. По выражению Е.П. Капицы, «если XX прошел под знаком разбрасывания камней, рождения сотен научных дисциплин, то XXI век определяется тем, насколько успешным окажется междисциплинарный синтез, насколько удачно будут собраны камни» [Капица, 2003, с. 61].

Человек рассматривается в культуре любой модели мира в качестве субъекта, поскольку он осмысляет культуру, относится к ней и воспринимает ее, а также в качестве объекта, поскольку одновременно он представляет собой то, что воспринимается, осмысляется и оценивается другими.

Для современного этапа развития человечества наиболее характерными являются две тенденции: глобализация, с одной стороны, и острая потребность сохранения национального достояния, национальной культуры, с другой. Эти тенденции, на первый взгляд, противоречивые, очень тесно связаны между собой. Глобализация неизбежно усиливает регионализацию. Важнейшие предпосылки межкультурной коммуникации формулируются как:

1) защита собственной культуры и языка как условие сохранения национальной идентичности;

2) дистанция, отказ от нарушения физических и ментальных границ другой личности, народа;

3) толерантность как признание другой точки зрения;

4) внутренняя установка на плюрализм как попытка взглянуть из другой перспективы на «свое»;

5) внимание к «чужой» точке зрения на «свое» [Зинченко, 2008, с. 109].

Все вышесказанное показывает особую актуальность такой темы, как оппозиция «Я – Другой» в качестве философской проблемы в тесном взаимодействии с лингвистикой.

Одним из ключевых вопросов философии является вопрос самоидентификации и самоактуализации человеческой личности посредством отношения «Я – Другой». С глубокой древности мифология, религия, философия и вся мировая литература, как практическое их отражение, представляют широчайший диапазон возможных путей решения этого вопроса. Момент нетождественности «Я» самому себе был четко выражен еще в классической философии. Эту идею выразили, прежде всего, Фихте в представлении о деятельном «Я» и Гегель во взгляде на развивающееся единое субстанциональное субъектно-объектное начало. По словам Гегеля, «каждое самопознание познает себя как всеобщее, как возможность абстрагирования от всего детерминированного и как единичное с определенным объектом, содержанием и целью» [Гегель, 1970, с. 65].

К двадцатому столетию западная философия подходит со стопроцентным утверждением личностного начала в человеке, утверждением собственного «Я». В связи с этим усиливается актуальность проблемы оппозиции «Я – Другой». Тема взаимоотношений «Я» и «Другого» становится одной из самых обсуждаемых тем в философии XX века. Намечаются две четкие линии: линия Э. Гуссерля и впоследствии М. Хайдеггера, где «Я» и «Другой» сливаются в едином потоке человеческого сознания, и противоположный подход – линия М. Бубера, где «Я» четко отделено от «Другого». «Я» обретает подлинное бытие в отношении к «Другому» в форме уважительного, равноценного диалога.

Для Э. Гуссерля проблема «Другого» встает как проблема интрасубъективности. «Другой» – самое чуждое, что только может быть, ибо он создает свой «смысловой мир», и, тем не менее, мы находим его среди данностей нашего сознания и воспринимаем как трансцендентального субъекта, а не как объект. Для него и для меня мир оказывается един. Прежде всего мы воспринимаем живое тело «Другого», аналогичное нашему, а затем спонтанно «дорисовываем» психологию «Другого», полагая, что она «такая же, как моя». Этот процесс называется у Гуссерля «аналогизирующей апрезентацией» и опирается на свойство горизонтальности. В основе аналогизирующей апрезентации лежит пассивный ассоциативный синтез. Возникает то, что Э. Гуссерль называет «единством схожести», благодаря которому мы понимаем «Другого» как другого, а не как лишенный смысла объект. В «Картези-

анских размышлениях» Э. Гуссерль утверждал, что каждое «Я» – это монада, конституирующая реальность, в том числе и реальность других «Я». Однако любое другое «Я» интендируется как «Я», которое в свою очередь конституирует опыт. Другой воспринимается путем сопереживающего соотнесения внутреннего горизонта с горизонтом, внеположным телу [Гуссерль, 2001, с. 221–225].

Религиозный философ М. Бубер разрабатывает подход, противоположный идеям Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. Эволюция его влиятельного учения многогранна, однако наибольшую известность получила его концепция диалога «Я – Ты» – диалога между людьми, диалога человека и Бога. Для описания взаимоотношений двух личностей М. Бубер выделяет две базовые категории отношений: «Я – Ты» и «Я – Оно». Внутри отношений «Я – Оно» другой человек выполняет функцию объекта, служит утилитарной цели, может быть использован в корыстных интересах. Внутри отношений «Я – Ты» корысть невозможна, другой человек воспринимается в его открытости для взаимных и неманипулятивных отношений. М. Бубер пишет: «Тот, кто говорит Ты, не обладает никаким Нечто, он не обладает ничем. Но он состоит в отношении...» [Бубер, 1995, с. 3]. Предпочтительный уровень взаимоотношений – это уровень «Я – Ты», обозначающий космическое постижение всего универсума. «Ты», с которым встречается «Я», таким образом, не просто отдельный предмет, выделенный моим вниманием из многих других вещей. Скорее познание «Ты» дает возможность постигнуть весь универсум. По словам Бубера, в каждой моей встрече «Я – Ты» изменяется не только мое отношение к универсуму, но меняется и само «Я». «Я», входящее в связь «Я – Ты», никогда не может стать объектом. Буберовское «Я» осмысливается только в контексте взаимоотношения. По М. Буберу, «всякая действительная жизнь есть встреча» [Бубер, 1995, с. 4]. Это реализуется на всех уровнях подлинных человеческих отношений. Например, брак, согласно М. Буберу, «состоит в том, что двое людей открывают друг другу «Ты». «Я» и «Ты» находятся не только в отношении, но в нерушимой, чистосердечной ответственности друг перед другом» [Бубер, 1995, с. 16]. Высшая встреча, по М. Буберу, встреча человека с Богом, может осуществиться только в том случае, если человек видит ее посредством отношения «Я – Ты». Бубер настаивает на мысли о том, что встреча с Богом реализуется лишь в диалоге, а не только в обращении к нему: «Обозначать Бога как личность необходимо для каждого человека, который подобно мне поворачивается к Богу.

При этом нет нужды отворачиваться от других «Я-Ты»-отношений, все эти отношения есть отношений между мной и Богом» [Бубер, 1995, с. 18]. Анализируя рассуждения М. Бубера, Ю.А. Журавлева в диссертационном исследовании, посвященном проблеме «Я» в современной философии, отмечает, что «Бубер в диалоге «Я» и «Ты» описывает экстремальную ситуацию существования «Я», когда оно полностью захвачено внешним» [Журавлева, 2005, с. 153]. По мнению Ю.А. Журавлевой, «в философии диалога М. Бубера «Я» вторично по отношению к «Ты» <...> Философию диалога Бубера можно назвать “коммуникационным экстремизмом”» [Журавлева, 2005, с. 153–154]. Полагаю, что все же не «экстремизмом», а идеализмом. Отношения, представленные М. Бубером, есть идеальные отношения как между двумя отдельными людьми, так и между культурами, а также идеальные отношения между человеком и Богом. М. Бубер – великий гуманист, и, если человечество пойдет по этому пути, оно достигнет вершины совершенства в отношении «Я – Другой».

Таким образом, даже краткий анализ движения западноевропейской философской мысли четко показывает, что это движение от оппозиции «Мы – они» к оппозиции «Я – Другой» и в идеале – к диалогу «Я – Ты», по М. Буберу. Это движение по пути индивидуализации, уважения принципов индивидуализма, рассмотрения идеального общества не как общности людей, а как совокупности самодостаточных индивидов. Отправная точка этого движения – осознанное существование «Я»: Я – есть. «Другой» может быть для меня «адам», «спасением», «возможной альтернативой», но, главное, «Я» сравниваю его с собой существующим.

Однако философская мысль дает и другой сценарий самоидентификации и самоактуализации человеческой личности. Это вечный поиск «Я», вечный процесс самопознания и изменения в зависимости от отношения «Я – Другой» или вне этого отношения. Такой взгляд оказывается характерным для русской философии.

Русскому сознанию чужд агрессивный западный индивидуализм. Н.Л. Слободнюк отмечает, что «проблемы “кто есть я” и “я и другой” на русской почве имеют пути решения, отличные от тех, которые нам предлагает западноевропейская традиция» [Слободнюк, 2002, с. 10]. Действительно, русский философ В.С. Соловьев в «Кризисе западной философии» критикует западноевропейских философов за индивидуализм и резко выступает против авторитетов,

признавая в качестве единственного авторитета «авторитет веры» [Соловьев, 1990, с. 11].

Для русской философской мысли характерно рассмотрение отношения «Я – Другой» в связи с глубоким душевным проникновением одной личности в другую и возможностью изменения «Я» под влиянием «Другого». Эта тема наиболее ярко представлена С.А. Франком в его онтологическом введении в философию религии «Непостижимое». Говоря об отношении «Я – Другой», С.А. Франк, отмечает, что явление встречи с «ты» именно и есть место, в котором впервые в подлинном смысле возникает само «я». Согласно С.А. Франку, «никакого готового сущего-в-себе «я» вообще не существует до встречи с «ты». В откровении «ты» и в соотносительном ему трансцендировании непосредственного самобытия – хотя бы в случайной и беглой встрече двух пар глаз – как бы впервые совместно рождается и «я», и «ты» <...> «Я» возникает для меня впервые лишь озаренное и согретое лучами «ты» [Франк, 1990, с. 356]. С.А. Франк считает, что само существо «Я» во всей суверенности и непосредственности его бытия обнаруживается лишь как специфическое отношение к «ты». Далее, по С.А. Франку, возможно развитие двух типов отношения «я» – «ты»: либо «ты» переживается мною как нечто «чужое», жуткое, угрожающее; либо, напротив, как «мое», родное, близкое мне. В первом случае, «я» вынужден создать себе некое «самоограждение» от «ты», «средство самозащиты, как бы скрывания себя от внешнего вторжения – где-то внутри, за некими окопами или стенами» [Франк, 1990, с. 364]. Во втором случае «я» чувствую, что нашел «успокоительную, отрадную реальность, свое второе «я», своего родного, близкого, своего двойника» [Франк, 1990, с. 366]. Только под влиянием «ты», согласно С.А. Франку, личность способна стать самой собой, обрести подлинное «Я». Позднее эта же мысль улавливается в философии М.М. Бахтина. М.М. Бахтин, подчеркивая необходимость участия «Другого» в формировании «Я», пишет: «Все, до меня касающееся приходит в мое сознание, начиная с моего имени, из внешнего мира через уста других, с их интонацией, в их эмоционально-ценностной тональности; я осознаю себя первоначально через других, от них я получаю слова, формы, тональность для получения первоначального представления о себе самом» [Бахтин, 1979, с. 342].

Даже краткий сравнительный анализ западноевропейской и русской философской мысли позволяет сделать вывод, что понимание «Я» и «Другого», равно как и уровня дистанции между ними,

оказывается имманентным культуре. Каждый философ, каждый мыслитель, сколь бы он не был индивидуален и уникален в своей гениальности, является представителем определенной культуры, носителем определенного языка и языкового сознания, и в зависимости от этого сознательно или бессознательно строит свою теорию и утверждает свое понимание проблемы.

Рассматривая проблему отношения «Я – Другой» и ее осмысление в философских и психологических исследованиях, обратимся к тезису Ж. Лакана о языке как о механизме, «восстанавливающем человеческое “Я” в всеобщем в качестве субъекта» [Лакан, 1997; Мамардашвили, URL]. Дело в том, что сам язык, его внутренняя структура, его «характер», по В. Гумбольдту, определяет степень дистанции, границы между двумя человеческими «Я».

Еще в 1926 году Ш. Балли в работе «Выражение идеи «персональной сферы» и «сферы солидарности» в индоевропейских языках» говорил о необходимости исследования индоевропейских языков в ракурсе двух сфер: так называемой «*персональной сферы*» (*sphère personnelle*) и «*сферы солидарности*», то есть «*сферы пересечения с другими лицами*» (*sphère de solidarité*) [Bally, 1926]. «*Персональная сфера*» касается только субъекта, а «*сфера пересечения с другими лицами*», то есть «*межличностная сфера*», затрагивает его взаимоотношения с другими субъектами. Если проанализировать степень возможного проникновения из «персональной зоны» одного субъекта в «персональную зону» другого субъекта, то эта степень также оказывается принципиально различной в разных языках. Целью лингвистического исследования, на наш взгляд, должно стать выявление дистанции между двумя человеческими «Я» и степени возможного проникновения из «персональной зоны» одного субъекта в «персональную зону» другого субъекта для каждого языка в отдельности и, соответственно, для каждого языкового сознания.

Языковое сознание определяется сегодня как закрепленный в лексико-грамматическом строе специфический языковой способ отражения действительности народом, говорящим на данном языке. Таким образом, языковое сознание представляет собой главную составляющую того, что К.Г. Юнг назвал «коллективным бессознательным». По Юнгу, «бессознательное не в состоянии производить ничего сверх того, что уже известно и принято в сознание» [Юнг, 1994, с. 179]. Языковое сознание имеет собственное представление о добродетелях и пороках, вопрос этот сугубо национален. Это тоже было косвенно сформулировано Юнгом: «В коллективной психике

специфические добродетели и пороки людей содержатся точно так же, как и все другое. И вот один засчитывает коллективную добродетель в свою персональную заслугу, а другой коллективный порок в свою личную вину» [Юнг, 1994, с. 206]. В связи с этим необходимо выявить и сформулировать те добродетели и пороки, которые определены языковым сознанием, не декларируемы культурой, а растворены в языковом строе. Так, для русского языкового сознания проявлением скромности и высшим достоинством считается невыдвижение собственной персоны, «невыпячивание» себя, тогда как для французского языкового сознания – минимальное вторжение в зону другого.

Таким образом, проблема оппозиции «Я – Другой» оказывается лингвофилософской проблемой. Культурные коды находятся внутри языков. Процесс их выявления сложен. На протяжении всей истории человечество пыталось выработать механизм поиска содержательных схем культурных кодов. Таковы «идеи» Платона, «*ideales principales*» Св. Августина, «категории» И. Канта, «архетипы» К.Г. Юнга, «схематизм сознания» М. Мамардашвили и др.

Сегодня в рамках лингвокультурологического подхода с привлечением достижений герменевтики выработан особый механизм поиска культурных кодов внутри языка. Этот механизм предложен Т.Н. Снитко и базируется он на определении «предельных понятий культуры» [Снитко, 1999]. Называя понятия «предельными», Т.Н. Снитко имеет в виду «наивысшую, максимальную степень абстрагирования, достигаемую мышлением в попытке осмысления мира» [Снитко, 1999, с. 3]. Предельные понятия являются базовыми для культуры в том смысле, что своей природой они указывают на основной тип присущего ей мышления. «Предельные понятия Восточной лингвокультуры есть иероглифы – понятия, имеющие особый статус, их смыслы изначально заданы, принадлежат Небытию, и поэтому невербализуемы, невыражаемы языком. Западная культура, напротив, в соответствии с собственной внутренней тенденцией к объективации познанного, проявляет стремление к максимальной вербализации, языковому воплощению смысла, порождаемого в пространствах содержания философов. В связи с этим, проблема предельных понятий в Западной лингвокультуре оказывается проблемой языка Западной метафизики» [Снитко, 1999, с. 14] Т.Н. Снитко приводит примеры основных предельных понятий Западной лингвокультуры – Бытие, Бог, душа, природа, язык, жизнь, человек – и замечает, что именно в философии эти понятия прояв-

ляют себя в своей предельности, хотя все европейские языки могут иметь эти же слова в обыденном языке [Снитко, 1999, с. 5]. С нашей точки зрения, наибольший интерес для исследования и компаративного анализа представляют отношения между предельными понятиями, которые можно обозначить как *фундаментальные отношения* внутри лингвокультуры. Представляется, что именно эти фундаментальные отношения определяют особенности языкового сознания, тот культурный код, который содержится в языке и не поддается или очень трудно поддается переводу. Примером такого фундаментального отношения внутри лингвокультуры является оппозиция «Я – Другой».

Рассмотрим пример из дискуссии П. Рикера с российскими исследователями. На вопрос российского ученого Г.П. Никулина: «Что для Вас является основанием для идентификации “я” и “ты”?», П. Рикер отвечает, что «непосредственная связь между «я» и «ты» имеет место крайне редко, она встречается только в отношениях дружбы и любви. Но даже в этих отношениях присутствует элемент институциональности. Так, брак – это институт распределения ролей. Я пытался это показать с помощью языка. Когда мы говорим, мы пользуемся языком, изобретенным не нами и подчиняющимся определенным лексическим, фонетическим и синтаксическим правилам. В этом смысле можно сказать, что нас объединяет мир языка. В действительности существуют не два человека, разговаривающие друг с другом, а целое лингвистическое сообщество, дающее нам инструменты, с помощью которых мы ведем беседу» [Рикер, 1995, с. 108]. Продолжая эту мысль П. Рикера, хотелось бы особо подчеркнуть, что язык и лингвистическое сообщество – это не только инструменты, а прежде всего особый тип языкового сознания с собственными внутренними установками и собственным понятием о добродетели и пороке. Принципиальным, на наш взгляд, является тот факт, что оппозиция «Я – Другой» оказывается имманентной культуре, мыслится в зависимости от уровня дистанции между «я» и «ты», установленной тем или иным языковым сознанием. Подтверждением этому является концовка ответа П. Рикера на вопрос, заданный российским исследователем: «итак, одна из основных проблем моей лекции – это вопрос о целесообразности различения двух значений понятия «другой»: существует другой, в котором я вижу личность и которого я могу воспринимать как «ты» и «другой» как все остальные, с которым я связан институционально, но в которых я не вижу личности» [Рикер, 1995, с. 108]. Эти слова П. Рикера

красноречиво свидетельствуют о том, что знаменитый исследователь является носителем французского языка и, следовательно, французского языкового сознания, устанавливающего четкий уровень границы между «я» и «ты» и структурирующего институциональные отношения людей за счет системы вокативов. В русском языке граница между «я» и «ты» размыта.

Таким образом, проблема оппозиции «Я – Другой» оказывается глубоко национальной, лингвофилософской проблемой. Ответы на вопросы, поставленные философами, следует искать в неразрывной связи с языком с учетом особенностей того или иного языкового сознания и тех понятий о добродетелях и пороках, которые диктуются языковым сознанием, а не декларируются культурой.

Литература

- Бахтин М.М. Из записей 1970–71 годов // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. М., 1995.
- Гегель Г.В. Работы разных лет в 2-х тт. Т. 1. М., 1970.
- Гуссерль Э. Картезианские размышления. М., 2001.
- Журавлева Ю.А. «Я» в современной философии. дис. ...канд. философ. наук. Пермь, 2005.
- Зинченко В.Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме. М., 2008.
- Капица Е.П., Курдюмов С.П., Маленцкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 2003.
- Культурология. М., 2009.
- Лакан Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
- Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии [Электронный ресурс]. URL: www.Psychology.ru/library/0021.shtml
- Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции и интервью. М., 1995.
- Слободнюк Н.Л. Проблема «Я» и «Другой» с точки зрения русского экзистенциализма // Вестник КРСУ. 2002. № 4.
- Снитко Т.Н. Предельные понятия в Западной и Восточной лингвокультурах. Пятигорск, 1999.
- Соловьев В.С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1990.
- Франк С.А. Сочинения. М., 1990.
- Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков, 2003.
- Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1994.
- Bally Ch. L'expression des idées de sphère personnelle et de solidarité dans les langues indo-européennes. Zeitschrift, 1926.

ОДНОЗНАЧНЫЕ ТЕКСТЫ С ДВОЙСТВЕННОЙ СЕМАНТИКОЙ

М.К. Тимофеева

Ключевые слова: семантика, истинность, онтологическая определенность, ирония, однозначность, противоречивость.

Keywords: semantics, truthfulness, ontological definiteness, irony, unambiguity, inconsistency.

Название данной статьи на первый взгляд может показаться противоречивым, поскольку неясно, как семантика может быть одновременно и однозначна, и двойственна. Однако далее показано, что разделение семантики текста на две противопоставленные части может быть прагматически оправданным в рамках выполнения определенной функции, связанной с употреблением языка.

Одно из основных свойств декларативных предложений – характеристика истинности. Именно это свойство является центральным для логики: «Подобно слову “прекрасный” в эстетике и слову “добрый” в этике, слова “истинный” и т.д. определяют направление развития логики» [Фреге, 2000, с. 326]. Согласно классической логике возможны только два варианта: предложение либо истинно, либо ложно. Многозначные логики позволяют развить более детализированный взгляд на вещи путем оперирования с тремя или более значениями, например, истинно, ложно, неопределенно. Интенциональные логики позволяют оценивать достоверность сообщения в разных «возможных мирах», добавляя тем самым к истинностной характеристике еще и онтологическую. Одно и то же предложение может быть истинно в одном возможном мире, но ложно в другом.

Характеристики истинности и онтологической принадлежности важны также в рамках повседневного использования языка, когда говорящим нужно понимать, являются ли (являлись ли, будут ли являться) обсуждаемые ситуации реальными или же, например, воображаемыми, желательными и т.д.

Иначе говоря, и с позиции логики, и с позиции рядового пользователя языка в декларативном предложении существенно то, что позволяет сделать обсуждаемую в нем ситуацию в большей степени истинностно и онтологически определенной, чем она была до того. С этой позиции неоднозначности и противоречия в тексте, казалось бы, нежелательны. Негативное отношение к ним действительно традиционно. В частности, именно стремление избавиться от неоднозначно-

стей и противоречий, свойственных естественным языкам, служило основным стимулом к изобретению искусственных языков. Таким идеалом руководствовались и создатели философских языков, и разработчики современных математических языков.

Однако на самом деле все не так просто. Тексты, семантика которых включает две противопоставленные части, также могут быть вполне ясными по своему содержанию, внося конкретный и четко понимаемый вклад в истинностно-онтологическую определенность сказанного. Далее рассматривается класс таких текстов, названный ранее текстами с двойственной семантикой [Тимофеева, 2009].

1. Общая характеристика текстов с двойственной семантикой

Если считать, что одна из основных функций языка – повышение истинностно-онтологической определенности обсуждаемого в тексте положения дел, то языковые средства можно разделить (относительно выполнения этой функции) на базовые и периферийные. Базовыми являются тексты, семантика которых однозначна и непротиворечива (в той степени, в какой того требуют обстоятельства коммуникации). Такие тексты наиболее типичны для обыденного общения, осуществляемого в рамках предметной деятельности человека. Вместе с тем, существует и периферия, то есть другие виды текстов, также служащие для выполнения этой функции (хотя и реже, чем базовые), но не обладающие указанным свойством. Анализ данной функции в целом предполагает рассмотрение не только базовых, но и периферийных средств, каковым, в частности, относятся тексты с двойственной семантикой.

Текст с двойственной семантикой представляет собой объединение двух противопоставленных частей. Понимание такого текста основано на усмотрении одновременно пары пропозиций (X , Y), однако сам текст при этом не воспринимается как непонятный или трактуемый неоднозначно, а двойственность семантики неустранима без существенного ее обеднения. Пропозиции X и Y воспринимаются как различные, но связанные определенным отношением, взаимодействующие друг с другом.

Во всех случаях использования текстов с двойственной семантикой ни одна из двух усматриваемых пропозиций не устранима без ущерба для понимания текста в целом. Это отличает такие тексты от текстов, содержащих случайные ошибки, оговорки, когда слушающий, распознав ошибку говорящего, корректирует движение своей мысли и затем без ущерба для смысла текста полностью заменяет первое (неправильное) понимание на второе (правильное).

Один из характерных примеров текстов с двойственной семантикой – ирония. В наиболее типичном варианте иронии пропозиция X есть отрицание пропозиции Y , то есть $X = \neg Y$.

2. Иронический текст как текст с двойственной семантикой

Ирония – явление довольно многообразное. В данном случае речь пойдет о вербальной иронии (а не, например, иронии ситуации или иронии, выраженной посредством мимики, взгляда и т.д.), представленной «в чистом виде», то есть не смешанной с метафорой, пародией и т.д. Например, высказывание *Этот человек изящен как слон* совмещает элемент иронии с метафорой, что делает иронию легко распознаваемой даже без привлечения дополнительного контекста. Характерное свойство иронии «в чистом виде» – невозможность распознать (без опоры на контекст), следует ли трактовать сказанное буквально или как иронию. Иногда это невозможно распознать и по контексту, поэтому применительно к такому виду иронии можно повторить слова Вилсона и Спербера: «Нет никакого безошибочного средства распознавания иронии. Любая коммуникация рискованна. Намерения говорящего не могут быть декодированы или логически выведены, их надо установить посредством чреватого ошибками процесса построения и оценки гипотез, даже наилучшие из которых могут оказаться ошибочными» [Wilson, Sperber, 2007, p. 47].

Ирония, согласно традиционному пониманию этого явления, состоит в том, что высказывается одно, а подразумевается другое, причем подразумеваемый смысл свидетельствует о ложности буквального. Такое соотношение между указанными двумя смыслами действительно типично для иронии. Однако возможны и другие варианты. Иллюстрацией может служить следующий пример [Wilson, Sperber, 2007, p. 36]. Посетитель магазина, указывая на охваченного гневом покупателя, изливающего ярость на продавца, говорит своему спутнику: «Кажется, он немного расстроен». Здесь буквальная и ироническая трактовки относятся друг другу скорее не как ложь и истина, а как сильно ослабленная характеристика ситуации и ее адекватная характеристика. Слабая степень эмоции противопоставлена сильной степени, но соотношение между пропозициями *Он расстроен* и *Он в гневе*, вообще говоря, не описывается посредством логической операции отрицания, то есть как соотношение типа P и $\neg P$.

Поэтому некоторые авторы (см., например, Р. Жиора: [Giorga, 1995]) рассматривают иронию как форму «непрямого (неявного) отрицания». Непрямое отрицание отличается от прямого по своим логическим свойствам, в частности, из прямого отрицания (в отличие от не-

прямого) следует высказывание противоположное отрицаемому. Для понимания этих различий достаточно сопоставить логические следствия высказываний *Он не в гневе* (прямое отрицание высказывания *Он в гневе*) и *Он расстроен* (непрямое отрицание того же высказывания).

Именно наличие прямого или непрямого отрицания кардинально отличает понимание иронии от процесса снятия неоднозначности, при каком-то отбрасываемом содержании бракуется и более уже не рассматривается.

Интересно, что буквальный смысл чаще бывает позитивным, а иронический – негативным. Эту психологическую особенность называют «эффектом Поллианны» по имени героини детских книг американской писательницы Э. Портер: девочка, носившая такое имя, позитивно интерпретировала все встречавшиеся ей неприятности. Согласно «гипотезе Поллианны» [Boucher, Osgood, 1969], человеку свойственна тенденция воспринимать вещи позитивно (это, в частности, проявляется в том, что позитивно окрашенные слова более употребительны, чем негативно окрашенные). Поэтому замена позитивного взгляда негативным обычно кажется более подходящим поводом для иронии.

Двойственна ли семантика иронического текста? Для прояснения этого вопроса рассмотрим, какие гипотезы относительно процесса понимания таких текстов существуют в когнитивной лингвистике.

Когнитивные лингвисты достаточно много внимания уделяют данному языковому явлению, однако единой точки зрения пока нет. Согласие есть лишь в том, что выбор между иронической и буквальной трактовками обусловлен языковым или внеязыковым контекстом. Относительно того, на каком именно этапе понимания контекст предопределяет итоговую трактовку текста, мнения расходятся.

Традиционный взгляд, часто именуемый «стандартной прагматической моделью» («standard pragmatic model»), постулирует приоритетность композициональной интерпретации иронического высказывания. Она состоит в трактовке смысла предложения как функции от смыслов составляющих это предложение более простых языковых единиц (слов и словосочетаний) и дает буквальное понимание. Как затем выясняется, оно противоречит имеющейся контекстной информации. Понимание иронии в этом случае оказывается двухшаговым процессом: сначала усматривается композициональный буквальный смысл, затем он отвергается на прагматическом основании, после чего строится новая некомпозициональная интерпретация текста.

Представители другой точки зрения не видят различий между пониманием иронии и пониманием обычного неиронического текста.

Они полагают, что иронический смысл доступен непосредственно, без построения промежуточной и впоследствии отвергаемой буквальной интерпретации, а контекстная информация воздействует на процесс понимания изначально, заранее настраивая адресата на одну из трактовок.

Существует и промежуточная позиция, согласно которой понимание одних видов иронии представляет собой двухшаговый процесс, понимание других видов – одношаговый. Рассмотрим кратко эти три точки зрения.

Традиционная двухшаговая стратегия «неудачи-и-исправления» (fail-and-recover) связывается, прежде всего, с именем Г.П. Грайса. С его точки зрения принцип кооперации и связанные с этим принципом максимы обычно соблюдаются обоими коммуникантами. Соответственно адресат сообщения, полагаясь на традиционность такого стиля языкового взаимодействия, использует (возможно, неосознанно) максимы как дополнительные логические посылки. Из посылок он выводит следствия – коммуникативные импликатуры, – рассчитывая на то, что эти импликатуры подразумевались в сообщении, хотя и не были в нем прямо высказаны. Однако в случае иронии такая стратегия оказывается тупиковой, поскольку оказывается, что выведенные импликатуры противоречат известной адресату контекстной информации и, следовательно, ложны. Согласно логическому закону контрапозиции, из ложности следствия вытекает ложность антецедента, то есть из невыполнения импликатур следует, что были нарушены какие-то из максим.

Грайс полагает, что в случае иронии нарушается максима качества («не высказывай то, что считаешь ложным»). Дело в том, что Грайс рассматривает иронию в традиционном духе, считая, что иронический текст выражает пропозицию, противоположную буквальной интерпретации. Значит, истинность иронической трактовки влечет ложность буквальной, то есть сообщение нарушает максиму качества. При более широком понимании иронии она может нарушать также и другие максимы.

Если адресат сообщения, построив буквальную интерпретацию, понимает, что максимы нарушены, он теоретически может выбрать одну из двух линий поведения. Либо он решит, что говорящий не соблюдает не только максимы, но и принцип кооперации (тогда языковое взаимодействие теряет смысл), либо он решит, что говорящий придерживается принципа кооперации как основы коммуникации, но умышленно нарушает максимы, желая придать тексту некий другой (например, иронический) смысл. Дальнейший процесс понимания иронии

Грайс связывает с наличием импликатур другого типа, которые используются тогда, когда импликатуры первого типа (типичные для обычной коммуникации) оказываются невыполненными [Grice 1989]. Тем самым, при понимании иронии адресат сначала строит буквальную интерпретацию и осознает, что она нарушает максимы, затем, перейдя от импликатур первого типа к импликатурам второго типа, получает ироническую интерпретацию того же текста.

Сторонники одношаговой модели иронии Д. Вилсон и Д. Спербер рассматривают это языковое явление в рамках развиваемой ими прагматической теории релевантности [Wilson, Sperber, 1995]. Их теория иронии («mention theory of irony») основана на различении собственно употребления («use») высказывания и последующих ссылок («mention») на это употребление [Wilson, Sperber, 2006].

По мнению Вилсона и Спербера, ирония – это воспроизведение некоего высказывания, его отголосок, подобный эху («irony as echoic mention»). Это может быть, в частности, мысль, высказанная ранее каким-то конкретным человеком (например, не оправдавшееся предсказание), или некая общеизвестная истина. Причем в данной концепции речь идет о воспроизведении не предложений, а пропозиций. Ссылка на некое высказывание, вообще говоря, не обязательно иронична: она может просто передавать информацию о содержании данного высказывания. В случае иронии цель состоит не только в этом. Автор иронического текста, воспроизводя некую мысль, одновременно дистанцируется, отмежевывается от нее и выражает свое отношение к ней (насмешку, презрение, упрек и т.д.). Вилсон и Спербер допускают много возможных отношений говорящего к мысли, являющейся объектом иронии, а не только оценку этой мысли как ложной. В этом их концепция отличается от традиционного взгляда.

Однако базовое различие между двухшаговой и одношаговой трактовками состоит в другом.

По мнению Грайса, иронический текст всегда является нарушением нормы (максимы качества), что вынуждает адресата пересматривать первоначальную трактовку текста. Значит, понимание иронии не возникает спонтанно, а происходит в результате логического вывода, управляемого особыми правилами или конвенциями, каковые могут быть разными в разных культурных сообществах.

Вилсон и Спербер не считают имитацию, воспроизведение чего-то отступлением от нормы. Значит, и ирония (как воспроизведение мысли) тоже не есть отступление от нормы. Напротив, ирония – это действие, являющееся для человека естественным и универсальным,

которому не нужно специально учить и учиться, осваивать какие-либо специальные конвенции (максимы). Поэтому вполне возможно спонтанное понимание иронии, возникающее непосредственно и не являющееся результатом логического вывода.

Вообще говоря, любое произнесение можно трактовать двояко: как выражение собственного мнения говорящего и как воспроизведение некоего другого мнения. Адресат должен понять, какой из этих вариантов подразумевается. Сторонники одношаговой концепции иронии полагают, что контекст заранее настраивает адресата на один них, поэтому понимание достигается непосредственно (за один шаг) и этап выбора отсутствует (этап выбора неизбежно сделал бы процесс понимания иронии не одношаговым).

Вариант, когда человек, даже не рассматривая буквальный смысл как невозможный, сразу приходит к ироническому смыслу, многим лингвистам (см., например: [Attardo, 2007]) кажется маловероятным, поскольку, как они полагают, ирония выводится, «вычисляется» на основе сопоставления двух суждений, следовательно, два смысла должны сосуществовать. В одношаговой же модели исключен момент осознания выбора между двумя возможными интерпретациями, поэтому неясно, как человек отличает ложное предложение от, например, новой метафоры или иронии. Этот довод не очень убедителен, поскольку выбор между иронической и буквальной трактовками есть всегда. Значит (если принять данный довод), процессы понимания всех без исключения текстов должны были бы быть двухшаговыми, но это, по-видимому, не так. Кроме того, непосредственное усмотрение иронического смысла, вообще говоря, логически не исключает одновременного усмотрения буквального смысла, что косвенно подтверждается экспериментальными исследованиями.

Результаты экспериментов по изучению иронии неоднозначны: некоторые свидетельствуют в пользу концепции непосредственного понимания, некоторые – в пользу концепции двухшагового понимания. Согласно первым, время, затрачиваемое на понимание иронии, не отличается от времени понимания неиронических текстов. Согласно вторым, в случае иронического текста процесс понимания длительнее. Такое расхождение в результатах послужило основанием для выдвижения более общей гипотезы градуированной доступности («graded salience hypothesis») [Giora, Fein, 2006], в соответствии с которой процесс понимания иронии может быть как одно-, так и двухшаговым, но в любом случае буквальный смысл полностью не исчезает из сознания, присутствуя в нем наряду с ироническим смыслом.

Эксперименты, на основании которых были сделаны эти выводы, проводились по бихевиористской схеме¹. Для каждого исследуемого предложения строились два небольших текста, в одном из них это предложение получало ироническую интерпретацию, в другом – буквальную. Каждому испытуемому сначала предъявляли один из таких текстов, а сразу после этого – буквенную последовательность одного из трех типов: 1) бессмысленный набор букв, 2) слово, связанное по смыслу с иронической трактовкой исследуемого предложения, 3) слово, связанное по смыслу с буквальной трактовкой этого предложения. Испытуемые не должны догадываться о цели исследования (таков один из общих принципов бихевиористского эксперимента), поэтому в качестве отвлекающего маневра их просили ответить на вопрос: «Является ли предъявленная буквенная последовательность словом?» Экспериментаторов же интересовало другое: слова какого из двух указанных выше типов распознаются быстрее. При интерпретации результатов использовалась базовая гипотеза: человек быстрее распознает то слово, которое ближе по смыслу к текущему содержанию его сознания. Это означает, что в момент осознания иронической трактовки текста распознавание слова, связанного с этой трактовкой, произойдет быстрее, чем распознавание слова, связанного с буквальной трактовкой.

В результате эксперимента оказалось, что понимание текста зависит от того, какой из смыслов является априорно более доступным («выпуклым», salient). Если таковым был буквальный смысл, то в процессе понимания он возникал раньше. В случае привычной иронии оба смысла возникали в сознании одновременно. Разделение иронических текстов на привычные и непривычные проводилось заранее в ходе предварительного тестирования. Предполагалось, что на степень доступности смысла помимо привычности могут воздействовать также частота употребления и прототипичность.

Из сказанного можно сделать следующий вывод. С позиции двухшаговой модели семантика иронического текста, чтобы адекватно отображать процесс его понимания, должна включать две противопоставленные части: буквальную и ироническую интерпретацию. С позиции одношаговой модели, как позволяют предположить экспериментальные исследования Джоры [Giora, Fein, 2006], обе эти интерпретации также должны присутствовать в сознании адресата одновременно.

¹ Обсуждение особенностей и примеров бихевиористских экспериментов в когнитивной лингвистике см., например, в: [Тимофеева, 2010].

Следовательно, есть основания считать, что семантика иронического текста в любом случае двойственна. Однако это обстоятельство не помешает такому тексту быть однозначно понимаемым, если обе части семантики по отдельности таковы.

3. Типы однозначных текстов с двойственной семантикой

Ирония – не единственный тип текстов, которые, несмотря на двойственность семантики, могут пониматься однозначно, внося вклад в истинностно-онтологическую определенность сказанного. Теми же двумя свойствами обладают разного рода конспиративные (зашифрованные) сообщения, имеющие внешнюю форму обычного текста. В качестве примера можно привести известный пароль из фильма «Подвиг разведчика»: *У вас продается славянский шкаф? – Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой.* Сюда же относятся тексты, систематическим образом использующие наименование одного предмета для указания на другой (например, можно представить себе более длительный диалог, в котором под *славянским шкафом*, *тумбочкой* и т.д. понимаются определенные «зашифрованные» предметы, не называемые прямо в целях конспирации). Систематическое обсуждение одного предмета в терминах другого может быть также ироническим или метафорическим. Если в ироническом тексте две части двойственной семантики указывают на одно и то же положение дел (обычно по-разному его оценивая), то в конспиративных сообщениях две части семантики, вообще говоря, никак не связаны между собой по содержанию.

Указанные типы текстов обладают двойственной семантикой только для определенной группы адресатов. Остальные эту двойственность не замечают, однако могут воспринимать тот же текст как понятный и однозначный (имеющий только буквальный смысл).

Двойственной семантикой обладают также саркастические высказывания (в отличие от иронии, выражающие пренебрежительное отношение) и тексты, построенные на основе иносказаний, эвфемизмов, эзопова языка, намеков. В намеке одна часть двойственной семантики воспринимается как усеченная (описывающая только часть положения дел) и, возможно, искажающая, другая – как ее дополнение.

Как и в случае иронии, двойственность семантики не мешает таким текстам быть однозначными (хотя, конечно, не все они таковы). В то же время, эта двойственность может быть заметна не для всех адресатов, считающих, что они поняли текст.

Содержание загадки тоже двойственно: она содержит вопрос и ответ, понимание текста отгаданной загадки – это усмотрение сразу обеих частей, а не одной только первой или второй. Тексты, использующие свежую метафору, оксюморон, парадокс, юмор, могут трактоваться как предложение решить простую задачку (например, такую: Что может означать комбинация смыслов ‘договориться’ и ‘не договориться’ в словосочетании *договориться не договориться?*). Несмотря на игровой характер такой задачки, она может вызвать затруднения у тех, кто не очень хорошо владеет используемым языком. Правда в этом случае адресат будет осознавать, что текст не вполне понятен и, возможно, даже сочтет его ошибочным.

Однозначные тексты с двойственной семантикой образуют своего рода шкалу, упорядочивающую их по числу тех потенциальных адресатов, которые воспринимают эти тексты именно так. Ближе к полюсу минимума находятся те случаи использования «чистой» иронии и конспиративного стиля общения, которые понятны только очень ограниченному числу лиц. Остальные виды текстов (построенные на основе иносказаний, эвфемизмов и т.д.) обычно относятся к более далеким от полюса минимума участкам шкалы.

«Чистая» ирония – менее «демократичный» вид текстов по сравнению с юмором, поскольку она воспринимается как таковая более узким кругом людей (этим отчасти объясняется тот факт, что разработчики компьютерных систем, взаимодействующих с человеком на естественном языке, уделяют имитации понимания юмора гораздо большее внимание, чем имитации понимания иронии).

Г. Кларк и Р. Герриг [Clark, Gerrig 2006] в своей теории иронии¹ отмечают, что ирония предполагает существование двух аудиторий: «внутреннего» и «внешнего» круга («посвященных» и «непосвященных»). Если говорящий специально не маркирует произносимый текст как иронический, то аудитория, вообще говоря, может не суметь сразу распознать текст как иронию. Говорящий в этом случае играет с аудиторией в своеобразную игру.

На полюсе минимума указанной выше шкалы находятся, в частности, иронические тексты, являющиеся таковыми только для говорящего (для осуществления неких его внутренних психологических целей). В этом случае «внутренний круг» состоит лишь из од-

¹ Г. Кларк и Р. Герриг полагают, что иронию следует трактовать более широко, чем в теории Вилсона – Спербера, и рассматривают это языковое явление не как *воспроизведение* некоего прежде существовавшего высказывания, а как *претензию* на высказывание («pretense theory of irony»).

ного человека. Если ирония не маркируется (интонацией, мимикой и т.д.) и не «вычисляется» по контексту, то двойственность семантики воспринимает только говорящий, для остальных это текст с обычной семантикой.

На полюсе максимума располагаются тексты, двойственность семантики которых слабо воспринимается (например, несложные метафоры или оксюмороны). Такие тексты понятны большинству носителей языка, но могут вызвать затруднения у тех, кто владеет языком не очень хорошо (что, в принципе, тоже может использоваться для ограничения «внутреннего» круга).

4. Функция однозначных текстов с двойственной семантикой

Все типы однозначных текстов с двойственной семантикой способны выполнять одну и ту же функцию: разделять множество потенциальных адресатов на две части, на «внутренний» и «внешний» круг. Для первых текст имеет двойственную семантику, для вторых – нет. Причем обе части аудитории могут участвовать в коммуникации одновременно и вторая из них может пребывать в полном неведении относительно того, что их восприятие текста является неполным. В качестве основы разделения аудитории могут использоваться любые признаки, касающиеся содержания или способностей сознания человека.

Некоторые эксперименты позволяют предположить, какие именно составляющие человеческого опыта значимы с точки зрения выполнения указанной функции в случае саркастических высказываний. Так, в [McDonald, 2007] исследованы особенности понимания саркастических высказываний пациентами с правополушарным нарушением мозга. Деятельности правого полушария приписывают важную роль в регулировании эмоционального поведения и распознавании эмоционального состояния окружающих. При наличии правополушарных нарушений теряется чувствительность к тонким эмоциональным сигналам, ослабляется способность распознавать эмоции по лицу, ухудшаются многие прагматические языковые навыки, нарушается способность приемлемым образом оценивать знания говорящего об обсуждаемой ситуации, следствием этого неизбежно являются и нарушения в осуществлении дедуктивных операций. В своих попытках понять сказанное человек начинает оперировать лишь поверхностными соображениями. Это приводит к тому, что ему сложно не только интерпретировать саркастическое высказывание, но и отличить его от ложного (и иронические, и саркастические, и ложные высказывания обладают общим свойством:

все они контрфактуальны). Результаты экспериментальных исследований позволили предположить, что причиной является неспособность сформировать «теорию ума» (theory of mind) другого человека, понять его состояние, стать на позицию собеседника. Иначе говоря, способность строить представление о внутреннем мире других людей является условием понимания определенных типов текстов с двойственной семантикой.

Тексты с двойственной семантикой, детерминируя способ разделения аудитории, являются очень мобильным и гибким средством выполнения данной функции. Для его использования говорящий может опираться как на прямые конвенции (например, в случае конспиративной коммуникации), так и на свою способность формировать представления о знаниях и умонастроениях людей. Таким способом можно определять многообразные множества адресатов для избирательной передачи информации, объединяя людей не только по социальным, профессиональным, возрастным и т.д. характеристикам, а по значительно более широкому спектру параметров.

Литература

Тимофеева М.К. Проблема моделирования понимания текстов с двойственной семантикой // Материалы Международной междисциплинарной конференции «Философия, математика, лингвистика: аспекты взаимодействия». СПб, 2009.

Тимофеева М.К. Введение в экспериментальную когнитивную лингвистику. Новосибирск. Труды Гуманит. фак. НГУ. Сер. 5, 2010.

Фреге Г. Мысль. Логическое исследование // Фреге Г. Логическая семантика. М., 2000.

Attardo S. Irony as relevant inappropriateness // Irony in language and thought : a cognitive science reader. Colston, 2007.

Boucher J., Osgood C.E. The Pollyanna hypothesis // Journal of verbal learning and verbal behavior. Academic Press Inc. 1969. № 8.

Clark H., Gerrig R.J. On the pretense theory of irony // Irony in language and thought : a cognitive science reader. Colston, 2007.

Giora R. On Irony and Negation // Discourse Processes. 1995. № 19.

Giora R., Fein O. Irony: context and salience // Irony in language and thought : a cognitive science reader. Colston, 2007.

Grice H.P. Studies in the way of words. Cambridge, 1989.

McDonald S. Neuropsychological studies of sarcasm // Irony in language and thought : a cognitive science reader. Colston, 2007.

Wilson D., Sperber D. Relevance: communication and cognition. Oxford, 1995.

Wilson D., Sperber D. On verbal irony // Irony in language and thought : a cognitive science reader. Colston, 2007.

АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ СТИЛЕВОЙ ЧЕРТЫ

Н.М. Татарникова

Ключевые слова: функциональный стиль, стилевая черта, дискурс, коммуникативная стратегия.

Keywords: functional style, stylistic feature, discourse, communicative strategy.

«Если справедливо утверждение, что «разум – настолько сложный объект познания, что изучение его не может быть ограничено рамками одной дисциплины...», то это относится и к изучению стилистики речи как весьма сложному объекту, познание которого возможно только в комплексе наук»

М.Н. Кожина.

Ведущей в лингвистике последней четверти XX века стала тенденция интеграции частных научных направлений с целью более эффективного анализа одного и того же феномена действительности – языка, который «настолько сложен и многоэлементен, что практически неисчерпаем в выборе различных параметров и сечений при его описании и характеристике» [Лыкова, 1999, с. 54]. При этом, очевидно, в основе такой интеграции должны лежать некие совместимые исходные установки в каждом из направлений.

Цель данной статьи – рассмотреть возможность применения анализа коммуникативных стратегий, используемого в теории дискурса, при исследовании формирования стилевых черт функционального стиля. Для этого мы, во-первых, попытаемся выявить основания для транспозиции методов анализа из одной исследовательской области в другую, и поэтому в общих чертах сопоставим направления развития функциональной стилистики и когнитивной лингвистики, куда входит теория дискурса; во-вторых, рассмотрим причины, по которым такой перенос методов представляется целесообразным.

Сначала обратимся к развитию функциональной стилистики.

Функциональная стилистика является одной из первых дисциплин, поставивших своей целью выявление обусловленности использования языка экстралингвистическими – социальными по своей природе – факторами.

Сложным было становление самого термина стиль и, соответственно, функциональный стиль. По мере развития функциональной

стилистики его понимание эволюционировало от представления о стиле как совокупности определенным образом окрашенных языковых средств к взгляду на него как на особый способ функционирования языка, обусловленный типом социальной деятельности, в которой он используется, и соответствующей ей формой общественного сознания (см. обзор осмысления этого понятия в русской лингвистике в: [Головин, 1988, с. 249–259]). Опора на наиболее общие внеязыковые условия формирования функционального стиля (базовые экстралингвистические факторы), выработанные широкой общественной практикой, определила его объективный характер, высокую степень абстракции и качественное своеобразие, которое нашло выражение в понятии стилевой черты. Стилевая черта представляет собой качественный признак стиля, обусловленный особенностями деятельности и коммуникации в соответствующей ему общественной сфере и вытекающий из функции стиля. Каждый функциональный стиль имеет специфический набор своеобразно проявляющихся в нем стилевых черт, посредством которых осуществляется переход от базовых экстралингвистических факторов к использованию языковых единиц.

Поиск специфики стилей в особенностях организации разноуровневых языковых средств (в том числе стилистически не маркированных¹), различиях в степени их активности позволил выявить речевую системность каждого из стилей, прежде всего в их ядерной зоне, на материале текстов, наиболее тесно связанных с соответствующей сферой деятельности. Тем самым были определены, если можно так выразиться, инварианты функциональных стилей.

Затем фокус внимания лингвистов, занимающихся функциональной стилистикой, постепенно смещается. Все больший интерес у них, с одной стороны, вызывают периферийные явления в области функциональных стилей, что, естественно, требует учета не только базовых экстрадетерминант, но и более узкого социального контекста и позволяет описать различные формы варьирования стилей – их подстили. А с другой – объектом изучения становятся особенности организации текстов различных функциональных стилей. В рамках Пермской школы функциональной стилистики под руководством М.Н. Кожинной и М.П. Котуровой разрабатывается тема «Функционирование языка в различных типах текста». Это представляется вполне закономерным

¹ Ср.: «Обычные, нейтральные, применяемые в разных языковых стилях и обеспечивающие целостность и структурное единство языка, несмотря на стилевое его варьирование, – именно эти средства... оказываются стилеобразующими, меняя свою активность от одного стиля к другому» [Головин, 1988, с. 262].

развитием прежней проблематики, поскольку функциональный стиль, будучи способом употребления языка, проявляется в пространстве текста, где специфическая система актуализированных разноуровневых языковых единиц тесно взаимодействует с характерными текстовыми структурами. Поэтому вполне естественно обращение к исследованию речевых жанров, тесную связь которых с функциональными стилями подчеркивал М.М. Бахтин: «Органичная, неразрывная связь стиля с жанром ясно прослеживается на проблеме языковых, или функциональных стилей. По существу, языковые, или функциональные стили есть не что иное, как жанровые стили определенных сфер человеческой деятельности и общения» [Бахтин, 1986, с. 432]. В функциональных стилях исследуются модификации функционально-смысловых типов речи, особенности композиции текста, изучаются текстовые единицы (см. работы Е.А. Баженовой, Н.В. Данилевской, М.Н. Кожиной, М.П. Котюровой, Т.В. Матвеевой, В.В. Одинцова, О.В. Протопоповой, В.А. Салимовского, Т.Б. Трошевой и др.).

Исследования последнего десятилетия акцентировали в функциональной стилистике коммуникативную направленность, заложенную в ней потенциально, поскольку понятия коммуникации и функционального стиля изначально неразрывно связаны: употребление языка предполагает того, кто его употребляет, и того, для кого это делается, то есть адресанта и адресата, которые не обязательно являются индивидуальными субъектами. Да и само понятие сферы социальной деятельности и общения имплицитно типичную коммуникативную ситуацию. Поэтому закономерно, что начиная с девяностых годов прошлого века стили все активнее изучаются и в коммуникативном аспекте (см. работы Н.С. Болотновой, Л.Р. Дускаевой, Б.С. Шварцкопфа и др.).

Таким образом, функциональная стилистика с понижением степени абстрактности исследуемых объектов (*функциональный стиль – подстиль – жанр*) и углублением представления об исследуемом феномене оказывается обращенной одновременно к языку и речи. Это ее пограничное положение находит отражение в параллельных терминах: функциональный стиль / функциональная разновидность языка / функциональный тип речи (выделено нами – *Н.Т.*) и в определении функционального стиля. Ср.: «Функциональный стиль – это исторически сложившаяся, общественно осознанная речевая разновидность... <...> (разрядка автора – *Н.Т.*) Или иначе – это исторически сложившийся тип функционирования языка (выделено нами – *Н.Т.*)» [Кожина, 2003, с. 581].

В функциональной стилистике в состав базовых экстрадетерминант включены тип общественного сознания, форма мышления и способ отражения действительности, характерные для той сферы общественной деятельности, в которой используется функциональный стиль. Поэтому представляется возможным говорить о связи функциональной стилистики с когнитивным направлением в лингвистике¹. При этом надо отметить, что в функциональной стилистике непосредственно не ставится задача исследования через употребление языка процессов формирования и понимания высказывания-текста, то есть когнитивных процессов.

Более того, в центре внимания анализируемого направления находится не сам процесс употребления языка в социально значимых сферах деятельности, а, скорее, его результат – то, что отложилось в ходе совокупной социальной практики использования языка как способы отбора его единиц и организации текста для оптимального выполнения им своего общественного назначения.

Подводя итог сказанному, отметим следующее. В функциональной стилистике на материале, в основном, письменных текстов употребление языка рассматривается в его обусловленности а) наиболее общими социальными факторами, в том числе относящимися к сознанию / мышлению и б) в результативном плане. Отчетливо проявляется тенденция к снижению степени абстрактности исследуемых объектов.

Теперь обратимся к формированию того направления, которое развивалось в европейской (и американской) науке почти одновременно с функциональной стилистикой и позже вошло в когнитивную лингвистику, явившись основанием теории дискурса.

Когнитивная теория употребления языка, формировавшаяся в рамках общей теории коммуникативного взаимодействия в 60–70-е годы XX века, поставила своей целью объяснить, как происходит планирование, производство и понимание высказываний [ван Дейк, 1989, с. 12]. Тем самым, обращаясь к употреблению языка, эта теория, в отличие от функциональной стилистики, сосредоточилась не на собственно речи, а на том, что стоит за ней, что с ее помощью можно выявить, – на когнитивных процессах, свойственных человеку. Наиболее очевидно отражает эти процессы живая речь, естественный диалог, в

¹ Здесь можно отметить как исследование функционально-когнитивного характера кандидатскую диссертацию Е.А. Юниной «Функционально-стилистический метод как критерий определения типов мышления» (1989), а также работы представителей Пермской стилистической школы по изучению научной речи, выполненные в когнитивно-стилистическом аспекте.

котором порождение и понимание высказываний происходит не отсрочено, а *здесь и сейчас*, поэтому он и оказался в центре внимания исследователей: «на рубеже 1970-х годов <...> осознано, что <...> объектом лингвистических теорий должно стать актуальное использование языка в социальном контексте» [ван Дейк, Кинч, 1988, с. 154].

Когнитивные процессы проявляются уже на уровне отдельного высказывания – речевого акта, тем самым он становится материалом изучения в теории когнитивного употребления языка, а одним из ее оснований выступает прагматическая теория речевых актов. Обращение к речевому акту как минимальной / элементарной единице говорения и понимания вполне закономерно, если учесть степень его разработанности со стороны иллокутивной направленности, а также условий успешности, имеющих когнитивную природу. Здесь надо отметить, что речевой акт имплицитно диалогическое общение и обращенность к адресату в определенном, градуированном по степени абстракции социальном контексте. Однако социальный контекст, учитываемый в теории когнитивного употребления языка, не достигает столь высокой степени абстракции, как это изначально было заложено в функциональной стилистике. Наибольшую значимость получает некоторая ситуация, поскольку совершение действия, в том числе речевого, всегда связано именно с ней. Эта ситуация, рассматриваемая как со стороны наиболее общих свойств социальных условий взаимодействия, так и в плане специфичных для нее, имеет определяющее значение, ибо «каждое высказывание должно интерпретироваться и всегда интерпретируется в свете заданного контекста и строится всегда в соответствии с этой установкой» [Франк, 1986, с. 368]. Сказанное детерминирует обращение к понятию дискурса.

Однако понятие дискурса обычно связывается не с одним речевым актом, а с более длительной интеракцией, с обменом речевыми актами, представляющими собой единое целое – один глобальный или макроречевой акт. Подобное явление рассматривается как типизированная последовательность речевых актов с относительно конвенциональной или ритуализованной структурой. В качестве примера приводится чтение лекций, проповедей, ведение повседневных разговоров и т.д. и отмечается, что каждый отдельный акт в составе макроречевого имеет свою конкретную функцию. Такие типизированные последовательности речевых актов признаются культурно обусловленными [ван Дейк, 1989, с. 18–36]. Их использование составляет повседневную практику общения.

Смещение внимания от речевого акта к более крупной диалогической единице общения – макроречевому акту (дискурсу) – для когнитивной теории употребления языка закономерно. Причина этого состоит в следующем: «Теория речевых актов... игнорирует динамическую и стратегическую природу естественного речевого общения, <...> внутреннюю «логику» в развитии диалога, использование участниками диалога стратегий регулирования и прогнозирования этого развития» [Франк, 1986, с. 367].

С понятием коммуникативной стратегии связаны процессы порождения и понимания дискурса. Именно в рамках макроречевого акта, как отмечает Т.А. ван Дейк, «мы можем иметь различные стратегии для полного достижения наших целей» [ван Дейк, 1989, с. 18]. Понятие стратегии уже несколько десятилетий используется учеными различных лингвистических (и не только лингвистических) направлений. В рамках когнитивного подхода стратегии объясняются через существование особых когнитивных структур – интерпретативных схем. «Интерпретативные схемы помогают формировать интенции и мнения (конечно, обусловленные контекстом), направляющие действия людей. Интерпретативные схемы, позволяя осмыслить ситуации, способствуют выработке альтернативных способов осуществления этих действий и реализации интенций. Говорящий выбирает тип действия и способ его осуществления из ряда альтернатив. Это называется стратегией. Понимаемая таким образом стратегия не предполагает сознательного планирования» [Макаров, 2003, с. 62]. Не касаясь степени осознанности действий говорящего, отметим, что «в самом общем смысле речевая стратегия включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого плана» [Иссерс, 2008, с. 54]. Интерпретативные схемы используются и в процессе понимания дискурса. Стратегия понимания состоит в выдвигании альтернативных гипотез о значении сказанного и намерениях говорящего, их оценке и принятии или отбраковке в процессе дальнейшего общения [ван Дейк, 1989, с. 39]. Тем самым, стратегический подход к дискурсу в рамках когнитивной лингвистики можно охарактеризовать как динамический и в аспекте его продуцирования, и в аспекте его понимания.

Исследования дискурса осуществляются как с точки зрения проявления в нем индивидуальности говорящего, так и в типологическом ключе. В последнем случае выделяются различные типы

дискурса: политический, медицинский, педагогический, банковский и т.п.

Сделанный обзор подводит к следующим выводам. В когнитивной лингвистике изначально на материале устных, а затем и письменных развернутых высказываний (дискурсов) употребление языка а) в его обусловленности социальными факторами, детерминирующими, прежде всего, конкретную актуальную деятельность автора (-ов) рассматривается как ключ к постижению его (их) ментальности и б) исследуется в процессуальном плане. Просматривается тенденция к «укрупнению» единицы анализа (от речевого акта к дискурсу) и повышению степени ее абстрактности (от дискурса к типу дискурса).

Выводы, к которым мы пришли, делая обзор развития каждого из направлений, показывают наиболее общие пункты схождения и расхождения функциональной стилистики и когнитивной лингвистики. Надо указать и на соотношение некоторых базовых понятий, используемых в данных направлениях. В первую очередь это понятия функционального стиля и дискурса, соотношение которых позволило Ю.С. Степанову высказать мнение, что термины «функциональный стиль» и «дискурс» следует рассматривать как близкие, но принадлежащие к разным лингвистическим школам [Степанов, 1998, с. 640]. Другая пара – это понятия макроречевых актов (Т.А. ван Дейк) и речевых жанров (далее – РЖ) как тематических, стилистических и композиционных типов высказываний (М.М. Бахтин). Надо отметить, что РЖ, с одной стороны, и речевые и макроречевые акты, с другой, сопоставлялись не единожды (см., например: [Кожина, 1999; Федосюк, 1997] и др.) и каждый раз отмечалось определенное сходство этих феноменов. Известная модель РЖ, предложенная Т.В. Шмелевой, включает все параметры речевого жанра, которые перечислил М.М. Бахтин, и эти же признаки фигурируют при классификации речевых актов и описании условий их успешности. Показателен и тот факт, что оппозицию простых и сложных жанров пытаются трактовать с помощью речевых актов. Простые жанры мыслятся как «типы иллокутивных актов, называемые при помощи отглагольных существительных, значение которых определяет речевое действие, например, угроза, отказ, присяга, вопрос, клятва, приглашение и т.д.», а сложные – как типизированные последовательности речевых актов, структура которых имеет относительно конвенциональный характер. Эти акты неоднородны, и каждый из них в глобальной деятельности имеет свою функцию и

место, например, приветствие в разговоре [Гайда, 1999, с. 110]. В структурной классификации РЖ, которую предлагает К.Ф. Седов, в качестве простейшей единицы выступает субжанр – одноактное высказывание, минимальная единица типологии РЖ, равная одному речевому акту [Седов, 2001, с. 112–113].

Таким образом, сходство на уровне базовых понятий анализируемых направлений несомненно. Кроме того, и сам термин коммуникативная стратегия не является совершенно новым для функциональной стилистики¹, но в должной степени не разработанным в ней.

Необходимо также подчеркнуть тенденцию, позволяющую считать рассматриваемые направления лингвистики взаимодополняющими: стремление к снижению степени абстракции исследуемых феноменов в функциональной стилистике и, напротив, повышение степени их абстракции в теории дискурса².

Итак, наши рассуждения, как представляется, привели к выводу о том, что использование стратегического анализа в исследовании формирования стилевых черт функционального стиля обоснованно.

Далее на практическом материале проанализируем связь использования коммуникативных стратегий и формирования стилевых черт устного и письменного дискурса (текста). Отметим, что единой классификации коммуникативных стратегий не существует, но в качестве глобальных, прежде всего, выделяют стратегии на повышение и на понижение. Рассмотрим возможность их использования в РЖ допроса и РЖ протокола допроса, занимающих разное положение в структуре официально-делового стиля.

РЖ допроса находится в зоне контаминации юрисдикционного подстиля официально-делового стиля с разговорным стилем и представляет собой устный диалогический жанр интерпрофессиональной официально-деловой речи, в котором под руководством основного автора (следователя) адресат-информант (допрашиваемый) сообщает необходимые для расследования преступления сведения. Получение объективной информации является коммуникативной целью жанра [Татарникова, 2006, с. 36–49]. Однако эта цель не исключает индивидуальных интенций допрашиваемого: он может ставить перед собой задачу представить участников дела в том или

¹ См., например: [Одинцов, 1982, с. 160 и далее].

² Ср. сказанное с выводами о соотношении стилистики и прагматики в [Кожина, 1997, с. 6].

ином свете, используя стратегию на повышение или на понижение. Проиллюстрируем сказанное примером из допроса нотариуса по делу о квартирном мошенничестве¹:

(1) *Сл.: Так вы у N лично спросили он действительно желает...*

Д.: Вот давайте я вот это вот вам объясню // Дело в том что человек одет неадекватно / вы сами понимаете / видно что человек возможно такого / бичевского вида / у нас когда человек вот такого вида приходит мы его чуть ли не допрашиваем // <...>...Еще на суде сказала одет неадекватно ... думаю как это выразиться ...

Сл.: N сказал что...

Д.: ...что ему обещают предоставить однокомнатную квартиру посредники <...> и плюс доплату // ... М я в глаза никогда не видела говорят он лысый какой-то...

В данном случае свидетель ради отмежевания от участников дела (N и M) использует стратегию на понижение, отмечая неприятные черты их внешнего вида (подчеркнуто), чем нарушает постулат количества информации, соблюдение которого необходимо в официально-деловом стиле. Эта стратегия реализуется также за счет использования просторечных и разговорных лексических единиц (*бичевского вида, в глаза не видела*), насыщенности частицами, вносящими разные оттенки акцентированного выделения (*вот, еще, чуть ли не*). Причем, значение подчеркивания усиливается смысловыми повторами (к выражению *в глаза не видела*, имеющему значение 'никогда не видела', добавляется слово *никогда*) и дублированием частицы (*вот*). Тем самым показания свидетеля получают экспрессивную окраску, эмоциональную насыщенность; так формируется характерная для разговорной речи стилевая черта эмотивность.

В то же время высказывания следователя направлены на установление объективной картины преступления и характеризуются отсутствием стратегий на повышение и понижение, в соответствии с чем, в его репликах используются как неокрашенные языковые средства, так и маркированные употреблением в официальной речи (*у N лично спросили; он действительно желает*). Таким образом, речевая партия следователя поддерживает связь жанра допроса с официально-деловым стилем, причем, эта связь выражается не

¹ Здесь и далее приняты следующие условные обозначения: Д. – допрашиваемый (-ая), Сл. – следователь. Знак <...> говорит о том, что выпущена часть высказывания с целью более эксплицитного представления стратегии.

только в использовании соответствующих языковых средств, но и в отказе от коммуникативных стратегий, не характерных для стиля.

В свою очередь РЖ протокола допроса, находящийся на периферии юрисдикционного подстиля, представляет собой письменный монологический жанр интрапрофессионального общения, в котором основной автор (следователь) фиксирует существенные для расследования объективные сведения, переданные автором-информантом [Татарникова, 2006, с. 58–66]. Такая установка исключает отражение в протоколе стратегий на повышение и понижение, которые имели место в РЖ допроса в показаниях информанта. Соответственно, в тексте протокола допроса употребление тех языковых средств, которые формируют эмотивность, ограничено в необходимых (и нечастых) случаях прямым цитированием речи информанта. Поэтому на смену эмотивности допроса приходит безэмоциональность протокола допроса как стилевая черта официально-делового стиля.

В представленном анализе мы шли от стратегии говорящего к формированию стилевой черты. Однако на это взаимодействие можно посмотреть и с другой стороны: стилевая черта как общественно одобряемое в той или иной сфере общения качество речи, осознаваемое говорящим, ограничивает выбор стратегии, если ее использование снижает эффективность коммуникации. Но и тот и другой подход свидетельствуют о корреляции между рассматриваемыми понятиями.

Важно еще обратить внимание на следующее. Во-первых, одни и те же коммуникативные стратегии, достаточно широко используемые в разных сферах общения, по-видимому, могут воплощаться в разных по стилистическим характеристикам языковых средствах. Поэтому было бы упрощением категорично судить о наличии некоторой стилевой черты по использованию той или иной коммуникативной стратегии. И, во-вторых, если коммуникативные стратегии и тактики разговорной и публицистической речи изучены хорошо, то о стратегиях официально-делового и научного стилей этого сказать нельзя, и приходится говорить о них через отрицание стратегий, описанных для других стилей.

Теперь попытаемся ответить на вопрос, почему мы считаем возможным применить метод анализа коммуникативных стратегий для изучения стилевых черт.

Основным философским законом, определяющим развитие любого явления, выступает закон единства и борьбы противоположностей.

На его основе М.В. Пановым сформулирована теория антиномий – присущих языку постоянно действующих противоречий, между которыми происходит качественно своеобразная борьба, являющаяся внутренним стимулом саморазвития языка [Русский язык..., 1968, с. 24]. Такие противоречия, в частности, манифестируются антиномиями «синхронное – диахронное», «системное – функциональное (коммуникативно-прагматическое)», которые, по нашему мнению, находят отражение в понятиях стилевой черты в функциональном стиле и стратегии в дискурсе. Свидетельством продуктивности антиномического (детерминационного) подхода к исследованию делового текста является работа О.П. Сологуб «Русский деловой текст в функционально-генетическом аспекте» [Сологуб, 2008, с. 23–81].

В философии «способом теоретического воспроизведения в сознании целостного объекта» признается «восхождение от абстрактного к конкретному», рассматриваемое как «всеобщая форма научного знания, систематического отображения объекта в понятиях» [Философский словарь, 1981, с. 4]. На первоначальном этапе оно включает в себя свою противоположность – восхождение от конкретного к абстрактному. Таким образом, эти стороны познания выступают в диалектическом единстве. Предполагаем, что стилевые черты функционального стиля и коммуникативные стратегии дискурса связаны отношением «абстрактное - конкретное» и изучение их в таком аспекте приведет к углублению содержания понятия «стилевая черта» и пониманию механизма ее формирования.

Представляется существенным, что стилевые черты функционального стиля, дедуцированные с опорой на его базовые экстралингвистические факторы (прежде всего функцию) и тем самым представляющие собой абстрактные образования, могут быть соотнесены с явлениями речевого порядка как более конкретными. В то же время переход от абстрактных категорий (стилевых черт) к их языковому воплощению в конкретных речевых произведениях как представителях стиля, с нашей точки зрения, не является скачкообразным и автоматическим. При автоматической реализации стилевых черт все тексты определенной сферы деятельности укладывались бы в параметры соответствующего функционального стиля, а реальная речевая картина этому противоречит. Значит, выбор автором подходящих ему языковых средств, формирующих ту или иную стилевую черту или, напротив, разрушающих ее, должен быть чем-то обусловлен. В теории дискурса этот выбор определяет коммуникативная стратегия говорящего.

Сказанное обуславливает правомерность и необходимость соотнесения рассматриваемых феноменов.

В заключение хотелось бы отметить следующее. Теория функциональных стилей, разрабатываемая Пермской стилистической школой под руководством М.Н. Кожиной, представляется исключительно плодотворной, что проявляется в совместимости этой теории с новыми направлениями в лингвистике, в образовании «точек роста», из которых развиваются «сдвоенные» направления (стилистика текста, прагматилистика, коммуникативная стилистика художественного текста). Принципиальная «открытость» функциональной стилистики междисциплинарным подходам способствует интеграции знания и в конечном итоге углублению системного представления о функциональном стиле.

Литература

- Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Литературно-критические статьи. М., 1986.
- ван Дейк Т.А., Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1988. Вып. 23.
- ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Гайда Ст. Жанры разговорных высказываний // Жанры речи. Саратов, 1999. Вып. 2.
- Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1988.
- Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2008.
- Кожина М.Н. О соотношении стилистики и прагматики // Стилистика и прагматика. Пермь, 1997.
- Кожина М.Н. Речевой жанр и речевой акт // Жанры речи. Саратов, 1999. Вып. 2.
- Кожина М.Н. Функциональный стиль // Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М., 2003.
- Лыкова Н.А. Континуальное и дискретное в языке // Филологические науки. 1999. № 6.
- Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003.
- Одинцов В.В. Композиционные типы речи // Функциональные типы русской речи. М., 1982.
- Русский язык и советское общество. М., 1968. Кн. 1.
- Седов К.Ф. Жанры повседневного общения и хорошая речь // Хорошая речь. Саратов, 2001.
- Сологуб О.П. Русский деловой текст в функционально-генетическом аспекте. Новосибирск, 2008.
- Степанов Ю.С. Язык и метод. К современной философии языка. М., 1998.
- Татарникова Н.М. Координация первичного и вторичного речевых жанров в официально-деловом стиле речи. Иркутск, 2006.
- Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы языкознания. 1997. № 5.
- Философский словарь. М., 1981.

Франк Д. Семь грехов прагматики : тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17.

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И КОНТЕКСТНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ЧЕЛОВЕК» В ПОВЕСТИ «БЕЛЫЕ НОЧИ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Е.Н. Батурина

Ключевые слова: контекст, концепт, повествовательная структура.

Keywords: a concept, a context, a narrative structure.

Повесть «Белые ночи» относится к первому периоду творчества писателя и впервые была опубликована в 1848 году. Позже, в 60-х годах, Достоевский внес в ее текст некоторые изменения. Но в целом общий сентиментально-романтический тон повести, философско-историческое осмысление автором темы Петербурга, в тексте сохранились, как и образ Мечтателя – безымянного героя, одинокого молодого человека, чиновника-разночинца.

При анализе концепта ЧЕЛОВЕК в повести необходимо учитывать особенности ее композиции (состоит из 5 частей: 4-х глав-ночей, вставного рассказа «История Настеньки» и заключительной главы «Утро»), жанровую специфику (имеет подзаголовок «Сентиментальный роман») и, что крайне важно, особенности ее повествовательной структуры. Дело в том, что повествование в этом произведении ведется от имени главного героя и строится в форме воспоминаний. Все описываемые события словно отражены сквозь призму сознания Мечтателя. В «Белых ночах», как считает Ю.М. Проскурина, «Ф.М. Достоевский использует форму записок неизвестного, анонимного мемуариста» [Проскурина, 1966, с. 125].

Всего в повести содержится 25 текстовых фрагментов (контекстов) с лексемой человек и ее дериватами. Предложение или его часть, где данное слово содержится, условно будем считать «эмоционально-смысловой доминантой» контекста. Можно выделить 4 повествовательные пласта, где представлены анализируемые нами контексты:

1. Речь Мечтателя-рассказчика от 1-го лица, обращенная к читателю, то есть речь повествователя;
2. Речь Мечтателя, обращенная к Настеньке (в том числе и его внутренняя речь);
3. Речь Настеньки, обращенная к Мечтателю;
4. Реплики жениха Настеньки, адресованные ей, в «Истории Настеньки».

Все рассматриваемые контексты в зависимости от функциональной нагрузки мы разделили на несколько типов. Рассмотрим каждый из них и дадим более детальный комментарий некоторым из контекстов.

I. Контексты, в которых герой представляет себя сам, дает себе характеристику. Этот функциональный тип условно можно разбить на 2 подгруппы:

1) Контексты речи Мечтателя исповедального, интроспективного характера. Эта подгруппа включает в себя 9 текстовых фрагментов и, как доминирующая и самая многочисленная по составу, будет рассмотрена ниже;

2) Контекст-реплика жениха Настеньки, в которой он, обращаясь к ней, говорит о себе: *«Послушайте, <...> Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 124].

Это фрагмент речи одного героя, переданный через речь другого: реплика жениха Настеньки воспроизведена ею самой в ее «Истории». В контексте герой, характеризуя себя: *«я человек бедный»*, говорит об этом невесте, не унижаясь, а с чувством собственного достоинства, объясняя это свое состояние как временное. Что подтверждается его последующей репликой: *«...я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, <...> клянусь вам, мы будем счастливы»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 125]. Сочетание лексемы человек с прилагательным бедный – одно из самых частотных в идиостиле раннего творчества писателя, репрезентация такого ядерного для Достоевского концепта, как БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Комментарий 1-й группы контекстов предварим анализом семантики лексемы мечтатель с опорой на следующие словари: «Голковский словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Голковский словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова (ТСРЯ), «Словарь русского литературного языка» (БАС) и «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, соответственно. Следует отметить что в «Словаре языка Достоевского. Лексический строй идиолекта» слово мечтатель рас-

сматривается в словнике идиоглоссария [СЯД, 2007, с. 549], но полное описание как идиоглосса еще не получило.

1. «Мечтатель <...> – охотник мечтать, задумываться или играть воображением; кто сам о себе высокого мнѣния» [Даль, 1998, с. 845];

2. «Мечтатель – человек, склонный предаваться мечтам, обольщаться мечтами, фантазер» [ТСРЯ, 1938, с. 206];

3. «Мечтатель – Человек, склонный предаваться мечтам, любящий мечты <...> || <...> Человек, злоупотребляющий игрой воображения и не считающийся в своих мечтах с реальной действительностью [БАС, 1957, с. 946–947];

4. «Мечтатель – тот, кто предается мечтам, фантазер» [Ожегов, 2004, с. 342].

В словаре под ред. Д.Н. Ушакова, БАСе, словаре С.И. Ожегова у рассматриваемой лексемы, в общем, выделено одно и то же лексическое значение: «человек, склонный предаваться мечтам». Что касается словаря В.И. Даля, то в нем толкование несколько иное: «охотник мечтать, задумываться или играть воображением».

Следует обратить внимание на оттенки значения лексемы мечтатель, выделенные в словаре В.И. Даля и в БАСе: «кто сам о себе высокого мнѣния», «Человек, злоупотребляющий игрой воображения и не считающийся в своих мечтах с реальной действительностью». По нашему мнению, второе толкование ближе всего к контекстуальной семантике слова в повести «Белые ночи». Это можно подтвердить словами героя Достоевского о себе самом: *«Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. <...> О, что ему в нашей действительной жизни!»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 115].

Рассмотрим I-ю группу контекстов интроспективного типа, предвзято каждый контекст указанием в круглых скобках главы и повествовательный пласта, где он находится. Выделим жирным шрифтом лексему человек с ее ближайшим словесным окружением как эмоционально-смысловую доминанту. Мы посчитали возможным также включить в эту группу 2 контекста – в) и з), не содержащие анализируемое нами слово, но в которых наиболее ярко раскрывается феномен мечтателя как характер, как тип человека.

а) (Ночь первая, Мечтатель-рассказчик) *«Я шел и шел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни доб-*

рых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 105];

б) (Ночь первая, Мечтатель – Настеньке) «...я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, <...> с какой-нибудь аристократкой на улице <...> ; сказать, что погибаю один, <...> что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину; внушить ей, что даже в обязанностях женщины **не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я**» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 107];

в) (Ночь первая, Мечтатель – Настеньке) «Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 108–109];

г) (Ночь вторая, Мечтатель – Настеньке) «**Тип? Тип – это оригинал, это такой смешной человек!** <...> Это такой характер. Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 111];

д) (Ночь вторая, Мечтатель – Настеньке) «Мечтатель – если нужно его подробное определение – **не человек, а знаете, какое-то существо среднего рода**» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 112];

е) (Ночь вторая, Мечтатель – Настеньке) «Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых <...>, **зачем этот смешной человек встречает его, так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве...?**» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 112];

ж) (Ночь вторая, Мечтатель – Настеньке) «отчего сам приятель так конфузится <...>, глядя на опрокинутое лицо хозяина, который <...> уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполненных, но тщетных усилий разглядеть и унестрить разговор, оказать и с своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такую покорностью **понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости?**» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 113];

з) (Ночь вторая, Мечтатель – Настеньке) «Но покамест еще не настало оно, это грозное время, – он ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 116];

и) (Ночь четвертая, Мечтатель – Настеньке) «Послушайте же, друг мой, – потому что вы все-таки мой друг, – я, конечно, **человек простой, бедный, такой незначительный**, только не в том де-

ло <...>, а только я бы вас так любил, так любил, что если б вы еще любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 135–136].

Контекст а) принадлежит плану речи главного героя, выступающего в роли рассказчика-повествователя и непосредственно обращающегося к читателю. Герой говорит о себе как о «всяком счастливом человеке», то есть контекст, несмотря на его исповедальность, имеет обобщающий характер: речь идет и о мечтателях вообще. Парадоксально по своей сути состояние счастья, испытываемого героем: счастливый человек – одинокий человек, «которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 105].

В контексте б) – фрагмент реплики Мечтателя, адресованной Настеньке. По общему смыслу этот фрагмент антонимичен предыдущему контексту, поскольку герой здесь говорит о себе как о «*таком несчастном человеке*» – робком и одиноком, не знающем женщин, лишь создающим «*в мечтах целые романы*» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 107].

Все последующие контексты также представляют собой фрагменты реплик Мечтателя, обращенных к Настеньке. И только контекст г) – отдельно взятая реплика со словами автора. Необходимо подчеркнуть, что в большинстве контекстов герой, говоря о себе (самоанализ), вместе с тем дает характеристику феномена мечтателя вообще, как характера, как типа (позиция отстранения). Вот как сам Мечтатель мотивирует этот момент: «*В этот час и наш герой, – потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать...*» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 114]. Герой Достоевского свое сознание, свои мысли, действия и поступки делает объектом анализа со стороны, как если бы это были сознание, мысли, действия и поступки другого человека.

Без сомнения, прав был М.М. Бахтин, писавший: «Достоевскому важно не то, чем его герой является в мире, а прежде всего то, чем является для героя мир и чем является он сам для себя самого» [Бахтин, 1972, с. 112].

Хорошо известно, что тема мечтателя появляется у Достоевского еще в повестях «Хозяйка» и «Слабое сердце» и затем получает свое развитие в цикле фельетонов «Петербургская летопись». В нем писатель впервые объясняет появление этой темы и типа героя.

Во избежание более громоздкого комментария, мы посчитали возможным выделить все репрезентации Мечтателя как человека из

этих контекстов, кроме последнего, то есть, представить своего рода вертикальный контекст (ряд номинаций). Цель его – показать эволюцию внутритекстовой семантики концепта ЧЕЛОВЕК-МЕЧТАТЕЛЬ в повести «Белые ночи».

*Мечтатель – (Я) – (как) всякий счастливый человек
такой несчастный человек
тип, оригинал
такой смешной человек
такой характер
не человек
(а) какое-то существо среднего рода
этот смешной господин
этот смешной человек
художник своей жизни*

Можно увидеть, что из 10 выделенных номинаций 5 представляют собой сочетания со словом человек, причем, дважды употребляется номинация смешной человек. Синонимичным ей является сочетание смешной господин. Мечтатель – человек смешной и странный в своих собственных глазах (в позиции отстранения) и в глазах окружающих его людей. Наиболее негативной по отношению к самому себе и даже уничижительной, по-нашему мнению, из всех его самооценок является развернутая номинация с противительным союзом а: «не человек, а какое-то существо среднего рода». В этой реплике, обращенной к Настеньке, герой дает развернутое и очень точное определение анализируемого им феномена (контекст д). И словно отказывает себе в праве считать себя человеком.

Хотя рамки статьи не позволяют нам привести объемную реплику Мечтателя в целом, необходимо указать на такую ее синтаксическую особенность, как нагнетание вопросительных предложений с вопросительными словами «отчего» (5 раз), «зачем». Пафос вопросительности, если можно так выразиться, пронизывает речь героя. Но адресованные героине его вопросы, следующие один и за одним, не предполагают ответа. Точнее, ответом на каждый предыдущий вопрос является вопрос последующий.

Две номинации «как и всякий счастливый человек» и «художник своей жизни» в целом можно считать позитивными самооценками Мечтателя. Рассмотрим вторую из них. По своей семантической сути это метафора. Она используется в рамках огромной реплики Мечтателя, также адресованной Настеньке. По-нашему мнению, в этой реплике есть элементы «потока сознания». Речь героя не прерывается, он гово-

рит о своих переживаниях и фантазиях, созданных его воображением. Все это сочетается в сознании Мечтателя с впечатлениями от восприятия реальной действительности.

К квалификациям обобщающего типа, в целом нейтральным, относятся номинативы «тип», «оригинал», «характер» (контекст г). Рассмотрим семантику этих слов в контексте с опорой на словарь Д.Н. Ушакова. «ТИП – 4. Человек оригинального склада, отличающийся какими-н. характерными особенностями во внешности, в поведении, образе мыслей и т.п. (разг.)» [ТСРЯ, 1940, т. 4, с. 707]. «ОРИГИНАЛ – 2. Чудак, странный человек (разг.)» [ТСРЯ, 1938, т. 2, с. 850]. «ХАРАКТЕР – 3. перен. Человек, обладающий тем или иным характером» [ТСРЯ, 1940, т. 4, с. 1134]. Анализ словарных дефиниций позволяет сделать вывод, что все лексемы можно считать контекстуальными синонимами. Иначе говоря, мечтатель, по мнению людей его окружающих, – это чудак, человек оригинального склада, странный по характеру, поведению, образу мыслей.

В отличие от других контекстов I-й группы, используемая в контексте ж) с помощью слова человек и синтагматически связанных с ним лексических единиц характеристика относится не к человеку типа мечтателя, а к другому лицу – его случайному приятелю, «бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкой пришел к нему в гости». Прилагательное бедный в сочетании с лексемой человек используется здесь в значении «попавший в неловкое положение, растерявшийся». Это значение лексемы не отражено в «Словаре языка Достоевского».

Иначе говоря, речь в этом фрагменте реплики главного героя повести идет о ситуации, в которой он и люди, подобные ему, теряются, испытывают чувство неловкости, так как привыкли к постоянному одиночеству, живя в своем воображаемом мире. Стоит сказать, что это лишь часть большой реплики Мечтателя монологического характера, хотя адресатом ее является та же Настенька.

Наконец, последний контекст и) несколько отличается от предыдущих контекстов по смыслу и интонационно: «я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный». Это фрагмент одной из последних реплик Мечтателя, обращенных к Настеньке, где он объясняется ей в любви. Для своей самооценки герой использует предикаты-прилагательные простой, бедный, незначительный в сочетании с лексемой человек, но эта самооценка не имеет уничижительного характера. Чувство собственного достоинства сквозит в его каждом слове, в каждой фразе: «*Послушайте же, друг мой, – потому что вы все-таки мой друг*» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 135], «*Вы бы только слышали, вы*

бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас...» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 136]. По-нашему мнению, в этом контексте по сравнению с другими фрагментами реплик Мечтателя наиболее ярко проявляется интроспективное начало, исповедальность достигает своего предела – единственный случай в тексте повести, когда герой говорит о себе: «я <...> человек».

Выделим еще один функциональный тип контекстов в соответствующую группу: II. Контексты речи одного человека, в которых представлена характеристика другого человека. Эту группу, в свою очередь, можно разбить на три подгруппы.

1. Контекст с репликой Мечтателя, адресованной Настеньке, где он дает оценку ее жениху;
2. Контексты, в которых Настенька характеризует Мечтателя;
3. Контексты, в которых она же дает характеристику своему избраннику.

Каждый из контекстов предварим указанием главы, где он находится.

Рассмотрим контекст 1-й подгруппы: (История Настеньки) «*Да и по всему вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, <...> он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас <...>; вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него отказаться...*» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 126].

Мечтатель, выслушав рассказ Настеньки, в целом оценивает поступок ее жениха как благородный, а его самого как «человека деликатного», пытается ее успокоить, советует написать жениху письмо, используя оставленное ей право «полной свободы» и «первого шага». Данный фрагмент мы можем назвать контекстом «оправдывающего характера».

Во II-й подгруппе представлены контексты речи Настеньки, обращенной к Мечтателю:

а) (Ночь вторая) «*Но так как раз узнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее – начинайте же, рассказывайте свою историю»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 110];

б) (Ночь вторая) «*Теперь я вас знаю, совсем всего знаю. И знаете что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень умный человек; обещаетесь ли вы, что дадите мне это совет?»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 120];

в) (Ночь третья) *«Вот то, что вы мне рассказали тогда о вашем мечтателе, совершенно неправда, то есть я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоровливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как сами себя описали»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 131].

Начиная с вопроса *«Ну, что вы за человек?»* (контекст а), задавая затем вопрос за вопросом: *«Так как же вы жили, коль нет истории?»*, *«Да как один? То есть вы никого никогда не видали?»*, *«...что это такое тип?»*, – героиня постепенно узнает от Мечтателя о нем самом и людях, ему подобных, все больше. Контексты б) и в) содержат позитивные оценки героя: *«Вы очень умный человек»*, *«вы, право совсем другой человек, чем как сами себя описали»*. Условно эти фрагменты назовем контекстами «реабилитирующего характера». Пожалуй, Настенька – единственный персонаж в повести, которому автор «дает возможность» оценить Мечтателя как реального человека (а не как тип), посмотреть на него со стороны.

III-ю подгруппу представляют фрагменты реплик героини, обращенные к Мечтателю и отражающие отношение к ее избраннику.

а) (История Настеньки) *«Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подсадите на мои нетерпеливые строки»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 126];

б) (Ночь четвертая) *«Не утешайте меня, <...> не говорите про него, не говорите, что он придет, что он бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 133];

в) (Ночь четвертая) *«О, как это бесчеловечно-жестоко! <...> И ни строчки, ни строчки!»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 133];

г) (Ночь четвертая) *«Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалеет бы меня и, и...»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 137].

Контекст а) представляет собой фрагмент письма, которое от имени Настеньки советует ей отправить ее избраннику Мечтателю. Выражение *«Вы благородный человек»* в целом соответствует нормам эпистолярного стиля письменной речи XIX века, когда девушка, обращаясь в письме к мужчине, доверяясь ему, не унижает себя, а сохраняет честь и достоинство. Интересно, что эта «модель» письма составлена не Настенькой, а Мечтателем, и она эту «модель» принимает с благодарностью как свою: *«Да, да! Это точно так, как я и думала! <...> О, вы разрешили мои сомнения, вас мне сам бог послал! Благодарю, благодарю вас!»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 133]. Письмо представляет собою «текст в тексте».

Контексты б) и в) отличаются тем, что в них степень эмоционального напряжения в состоянии Настеньки достигает максимального предела и выражена с помощью соответствующих языковых средств: экспрессивно окрашенной лексики, повторов, отрицательных конструкций (с усилительной частицей ни, в том числе), восклицательного предложения.

Обратим внимание на синонимичные повторы наречных сочетаний: так жестоко, так бесчеловечно в контексте б). И в контексте в) – на образованное сложением соответствующих основ краткое прилагательное бесчеловечно-жестоко. В контекстах использованы дериваты слова человек, точнее, производные от прилагательного бесчеловечный. В словаре под ред. Д.Н. Ушакова значение этой лексемы толкуется так: «Очень жестокий, чуждый сострадания» [ТСРЯ, 1935, т. 1, с. 136].

Так негативно и, как окажется потом, несправедливо оценивает Настенька своего избранника. В контексте г) героиня в порыве отчаяния сравнивает его с «не таким», «другим» человеком, «который пожалел бы» ее. Рассмотренные фрагменты в рамках повести можно квалифицировать как экспрессивно-оценочные контексты женской речи.

И, наконец, III группа и тип контекстов с лексемой человек – контексты, характеризующие человека в целом. В ней были выделены две подгруппы. Дадим комментарий каждой из них.

1. Фрагменты с речью Настеньки:

а) (Ночь третья) *«Послушайте, <...> а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека!»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 130];

б) (Ночь третья) *«Послушайте, зачем мы не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо сейчас не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь?»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 131].

Оба контекста – фрагменты реплик героини, обращенных к Мечтателю. В первом из них она в шутивно-кокетливой форме выражает свое недоумение по поводу своего якобы непонимания того, что может чувствовать влюбленный в нее герой: «Разберите-ка после этого человека!». Лишь по смыслу этой фразы данный контекст условно можно отнести к группе фрагментов обобщающего типа. Контекст б) содержит несколько вопросительных предложений, одно из которых с лексемой человек в сочетании с прилагательным в форме превосходной степени самый лучший является эмоциональ-

но-смысловой доминантой этого фрагмента и может быть квалифицировано как риторический вопрос.

2. Фрагменты с речью Мечтателя;

а) (Ночь третья, Мечтатель-раассказчик) *«Однако, как радость и счастье делают человека прекрасным! Как кипит сердце любовью!»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 128];

б) (Ночь третья, внутренняя речь Мечтателя) *«Какая слепая ты, Настенька!.. О! как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться!..»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 129];

в) (Утро, внутренняя речь Мечтателя) *«Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую?..»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 141].

Несмотря на то, что в более широком контексте оба фрагмента связаны с несбывшейся надеждой героя на взаимность, на ответную к нему любовь со стороны Настеньки, их можно считать контекстами обобщающего типа (о человеке вообще). Следует отметить, что эти фрагменты с лексемой человек «антонимичны» по смыслу: *«как радость и счастье делают человека прекрасным»*, *«как несносен счастливый человек в иную минуту»*. Смысловая антонимичность – особенность речи Мечтателя, уже отмеченная нами в начале статьи при сопоставлении контекстов интроспективного типа [Достоевский, 1972, т. 2, с. 105, 107]. И в первом, и во втором случае антонимичные между собой контексты принадлежат к разным пластам повествования: плану речи Мечтателя-рассказчика и плану его речи, обращенной к Настеньке, в первом случае; плану речи Мечтателя-рассказчика и плану его внутренней речи, мысленно адресованной героине, во втором случае.

Необходимо подчеркнуть, что фрагмент б) внутренней речи Мечтателя выделен, в отличие от его реплик (плана внешней речи), кавычками самим автором. Это своего рода текст в тексте.

К плану внутренней речи героя относится также контекст в), представляющий собой заключительный абзац повести – ее последние 3 предложения. Предыдущий абзац тоже фрагмент внутренней речи Мечтателя, мысленно обращенной к Настеньке со словами прощания, благодарности и пожелания счастья: *«Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!»* [Достоевский, 1972, т. 2, с. 140]. Этот отрывок по своей поэтичности, возвышенно-

сти и бескорыстности выраженного чувства – один из самых проникновенных в тексте повести. На высокой лирической ноте заканчивает Мечтатель свою историю: «*Да разве этого мало хотя бы и на всю жизнь человеческую?*» И этот вопрос-утверждение, обращенный к каждому из нас, содержащий сочетание на всю жизнь человеческую, также можно считать риторическим.

В заключение приведем примеры IV группы контекстов, представляющих собой повествовательные фрагменты, в которых слово человек входит в состав устойчивого сочетания молодой человек, характеризующего лицо по возрасту.

а) (История Настеньки, Настенька – Мечтателю) «*Новый жилец как нарочно был молодой человек, нездешний, заезжий*» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 121];

б) (Ночь четвертая, Мечтатель-рассказчик) «*В эту минуту мимо нас мимо нас **прошел молодой человек**. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало...*» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 139];

в) (Ночь четвертая, Мечтатель-рассказчик) «*– Настенька! Настенька! Это ты! – послышался голос за нами, и в ту же минуту **молодой человек сделал к нам несколько шагов***» [Достоевский, 1972, т. 2, с. 139].

Во всех фрагментах речь идет о молодом человеке – женихе Настеньки. В контексте а) героиня впервые говорит о нем в повести, представляет его «молодой человек, нездешний, заезжий». Это своего рода завязка сюжета об отношениях Настеньки, ее избранника и Мечтателя. В контекстах б) и в) – предтеча скорой развязки этого сюжета, последующей в финале 4-ой ночи. В целом нейтральные, эти контексты особенно точно передают, как нам кажется, нарастающее напряжение в психологическом состоянии героя Достоевского, понимающего неизбежность расставания с Настенькой и крушение всех своих надежд. В словесном окружении сочетания молодой человек передачу этого состояния в речи Мечтателя-рассказчика усиливают группы повторов «в эту минуту» и «в ту же минуту», «сделал несколько шагов» и «сделал к нам несколько шагов» в контекстах б) и в), соответственно. Рассмотренные фрагменты условно назовем «повествовательные контексты – катализаторы сюжета».

Итак, выполненный нами комментирующий анализ контекстов с лексемой человек и ее дериватами в повести «Белые ночи» Ф.М. Достоевского позволяет сделать следующие выводы:

1) повествование в этом произведении осуществляется с помощью анонимного рассказчика – главного героя и, пропущенное сквозь призму, его сознания строится в форме воспоминаний;

2) в зависимости от субъекта и адресата речи в тексте представлены 4 повествовательные пласта: речь Мечтателя-рассказчика от 1-го лица, обращенная к читателю; речь Мечтателя, обращенная к Настеньке; речь Настеньки, обращенная к Мечтателю; речь жениха Настеньки, обращенная к ней;

3) особенности повествовательной структуры обусловили контекстуальную специфику и содержание концепта ЧЕЛОВЕК в повести;

4) можно выделить 4 функциональных типа контекстов, репрезентирующих анализируемый концепт:

I. Интроспективные, исповедальные контексты («я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный»);

II. Контексты характеризующего, оценочного типа («он человек деликатный»);

III. Контексты обобщающе-риторического типа – о человеке вообще («Однако, как радость и счастье делают человека прекрасным!»);

IV. Повествовательные контексты – катализаторы сюжета («в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов»);

5) семантическую доминанту концепта ЧЕЛОВЕК составляет текстовый (базовый) концепт ЧЕЛОВЕК-МЕЧТАТЕЛЬ, репрезентируемый в речи главного героя в ряде номинаций: всякий счастливый человек, такой несчастный человек, тип, оригинал, такой смешной человек, такой характер, художник своей жизни и др. Наиболее развернутой и противоречивой среди них является номинация «не человек, а какое-то существо среднего рода»;

6) в контекстах рассмотрены отдельные стилистические, синтаксические, лексико-семантические и психологические особенности речи персонажей и, прежде всего, речи Мечтателя – героя, который во многом отразил собственно позицию автора, нигде не выраженную напрямую.

Литература

БАС – Словарь современного русского литературного языка : В 20 тт. Т. 6. М., Л., 1957.

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. Т. 2. М., 1998.

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 тт. Т. 2. Повести и рассказы. 1848–1859. Л., 1972.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2004.

Проскурина Ю.М. Повествователь-рассказчик в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи» // Филологические науки. 1966. № 2.

СЯД – Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта. Вып. 3. М., 2007.

ТСРЯ – Толковый словарь русского языка: в 4 тт. Т 1. М., 1935.

ТСРЯ – Толковый словарь русского языка: в 4 тт. Т 2. М., 1938.

ТСРЯ – Толковый словарь русского языка: в 4 тт. Т 4. М., 1940.

МЕСТО КЛЮЧЕВЫХ КОНЦЕПТОВ ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

Т.Ф. Извекова

Ключевые слова: концепт, кодифицированные единицы, безэквивалентная лексика, экспрессивно-ассоциативное значение, пространственные концепты, языковая личность.

Keywords: concept, codified units, nonequivalent vocabulary, expressive and associative meaning, spatial concepts, linguistic person.

В частности, в лингвистике это выражается в стремлениях, например, к культурологическим или психологическим исследованиям. Исследование языковых концептов как раз обычно проводится на стыке таких направлений, как лингвокультурология и психолингвистика.

Лингвокультурология, описывающая корреспонденции языка и культуры, «в синхронном их взаимодействии» в первую очередь исследует отдельные характерные для данного языка концепты, являющиеся «ключевыми» для данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и одновременно вызывающие трудности при переводе на другие языки. Переводной эквивалент для таких слов либо вообще отсутствует (как, например, для русских слов *тоска*, *надрыв*, *авось*, *удаль*, *воля*, *неприкаянный*, *задушевность*, *совестно*, *обидно*, *неудобно*), либо такой эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данного слова специфичными [Зализняк, 2005]. Безэквивалентная лексика, без-

условно, принимается во внимание в первую очередь при работе с понятием «концепт». Она обладает абстрактно-символическим значением, включающим в себя экспрессивно-ассоциативный элемент, улавливаемый лишь носителями языка.

Границы слова «воля» раздвигаются до границ концепта в тот самый момент, когда в сознании русского человека оно не совпадает со словом «свобода», существующим практически во всех языках мира.

В настоящее время исследователи большое внимание уделяют тем аспектам функционирования языковой системы, которые связаны с культурой языка, как в плане соблюдения основных норм языка, так и в плане аккумуляции в нем различных единиц (фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных), которые формируют *общую культуру* нации и народа. Как правило, два этих аспекта, тесно связаны между собой, поскольку в формировании общей культуры участвуют *кодифицированные*, то есть зафиксированные в словарях и справочниках единицы, часть этих единиц не поддается переводу в силу их специфического экспрессивно-ассоциативного значения.

Кроме безэквивалентной лексики, в ряду формирующих культуру и национальное сознание слов стоят слова, понимание которых отличается у носителей разных языков, в связи с разницей культур, бытового уклада, религий, территориального положения и т.д. Так, в русском языке можно говорить о концепте молчания, который сформирован русской традицией и значение которого описано в фольклорных и в художественных текстах. Слово «молчание» существует во всех языках мира как оппозиция «говорению», однако отношение к нему сформировано у разных народов по-разному.

Обратимся к русскому языку. В собрании В.И. Даля «Пословицы русского народа» (30 000 единиц) более 400 пословиц на тему «Язык и речь», в том числе есть и пословицы о молчании: «Во многословии не без пустословия»; «Язык блудлив, что коза»; «Умей сказать, умей и смолчать»; «Слово – серебро, молчание – золото»; «Слов мешок, а дел на вершок». Основные нравственные критерии в народном понимании, выраженные в этих пословицах, следующие:

- не спеши говорить;
- не говори много;
- не говори, что попало;
- лучше делай что-то молча;
- лучше промолчи.

Для русского народа молчание само по себе есть не только некое действие или бездействие, молчание – это некая нравственная катего-

рия, обозначение определенных качеств человека. Русские не любят тех, кто много смеется и много говорит. Говоря о доминантных характеристиках русского национального сознания, современный исследователь русского характера К. Касьянова в своей книге «О русском национальном характере» пишет: «Мужественность, бесстрастность, целомудрие и направленность мыслей на предметы высокие и важные – все это отражается в состоянии, которое принято определять как “серьезность” и “сосредоточенность” <...> Оттого так заметен на наших улицах каждый человек, оживленно что-то говорящий повышенным голосом, жестикулирующий, пытающийся что-то передать посредством усиленной мимики. У нас это не принято» [Касьянова, 1994]. Другими словами, молчание – это не просто слово, значение которого требует отдельного описания, это и национальная черта, свойственная русскому народу, своего рода норма поведения, заложенная в сознании предками (*Учебник для иностранцев, рассказывающий об особенностях русского характера*).

В психолингвистике обычно рассматривается взаимодействие не только языка и психологии говорящего индивида, но и взаимосвязь языка и психологии с точки зрения говорящих и воспринимающих речь реципиентов, поскольку «чужая речь имеет двойную экспрессию – свою, то есть чужую, и экспрессию вобравшего в себя эту речь высказывания» [Бахтин, 1979, с. 273]. Важно не только иметь представление о концепте, но и вполне владеть особенностями его функционирования в дискурсе, чтобы до конца владеть ситуацией общения. Изучение иностранного языка трудно не только потому, что необходимо полное овладение новыми лексическими единицами, но и потому что необходимо овладение новой культурой.

Экспрессивно-ассоциативный элемент обеспечивает вариативность лингвоконцепта в зависимости от дискурса, в котором он функционирует. Это может быть как дискретное пространство устной речи субъекта, так и пространство художественного текста русской литературы.

Концепт, отражаясь в сознании носителей языка, фиксируется в различных текстах, а в первую очередь в художественных. Художественные тексты со своей стороны тоже формируют культурное сознание читателей. Как справедливо отмечала Н.В. Кулибина в своей статье «Художественный текст как способ фиксации национального языкового сознания»: «Национально-специфичный образ мыслей – это не абстракция или фантом типа пресловутой “загадочной русской души”» [Кулибина, 2000]. Это реальная, доступная в своих конкретных

проявлениях языковая когниция, присущая народу, говорящему на данном языке, то есть опосредованная языком совокупность психических процессов постижения мира, окружающего человека.

Художественный текст не только дает возможность увидеть и переосмыслить самые привычные, казалось бы, явления окружающего мира, но и позволяет расширить семантические границы самого концепта, добавив в него те или иные коннотативные значения конкретно художественного эпизода и всего текста в целом.

Важно обратить внимание именно *на пространственные концепты*, которые, с одной стороны, отражают русскую языковую картину мира, а с другой стороны, выражают индивидуальные черты стиля.

Таким образом, именно художественный текст является идеальным транслятором «сгустка культуры», репрезентированного посредством концепта.

В последнее время при анализе ключевых концептов русской ментальности активно используются в качестве материала произведения литературы XIX века – М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, и произведения русских писателей XX века – Б.Л. Пастернака, О.С. Мандельштама, М.А. Булгакова и др. Многие исследователи отмечают при этом склонность русского человека к эмоциональности, к фатализму, пессимизму, иррационализму, морализаторским суждениям, что передается в русском языке определенными языковыми средствами.

Так, для большинства художественных произведений Достоевского концептом, где проявляются все оттенки общекультурных значений и расширяются границы этих значений, является концепт «правое-левое».

Пространственные концепты «правое-левое» имеют перевод, не отражающий в полной мере их семантической структуры, что свойственно, впрочем, для подавляющего большинства концептов. Семантическая структура такого концепта для русского человека формировалась прежде всего на основе православной религии или русского фольклора, «правое-левое» воспринималось скорее как один пространственный концепт, чем как два (достаточно вспомнить постоянную надпись на указателе русским сказочным и былинным персонажам: «Направо пойдешь – ... Налево пойдешь... Прямо пойдешь – ...»).

Данный пространственный концепт, функционирующий в художественном тексте Ф.М. Достоевского, можно обозначить как **двойной**, поскольку, с одной стороны, он включает в себя два очень важных для русской культуры аксиологических и пространственных понятия, а

с другой стороны, эти два понятия настолько тесно связаны, что имеют безусловное контекстуально-ассоциативное единство. Кроме того, говоря о семантике данного концепта, нельзя не учитывать в его структуре нулевую точку отсчета – понятие середины. То есть, концепт «правое-левое», с учетом всех особенностей восприятия русским человеком пространства в более полном своем варианте должен выглядеть как «правое-середина-левое». О середине важно сказать еще и потому, что большинство русских людей не склонны акцентировать на ней внимание, сосредотачиваясь на крайностях, а середина воспринимается как некое зависание между двумя полюсами.

Несмотря на семантическую разность правого и левого, они, безусловно, воссоздают некое общее диалектическое пространство, они в некотором смысле *взаимозаменяемы* и *взаимоперетекаемы*. Нельзя вспомнить про правое и забыть про левое; существуя в *правом* полюсе, можно оказаться лицом к лицу с *левым*, как это произошло с Раскольниковым в романе Ф.М. Достоевского «Преступление-наказание». Раскольников, будучи уверенным в своей внутренней правоте, был вынужден проделать долгий путь на протяжении всего романа к этому правому полюсу.

Нередко концепт «*правое-левое*» актуализируется в текстах с прямо противоположным значением. В романной поэтике Достоевского встречается семантическая мена сторон, и, как это принято в культуре, положительной аксиологии порой подчиняется не только правая сторона, семантически сопрягаемая с христианской праведностью, но и левая, связанная с физиологическим расположением сердца (органа, который традиционно воспринимается как средоточие всей сути человека), а, следовательно, и с телесностью. Собираясь «на дело», Раскольников «стал пришивать оба конца тесьмы под *левую* мышку *изнутри*». Расположение инструмента убийства таково, что он находится «изнутри», более того, он близок именно левой стороне, близок сердцу, которое олицетворяет центральную точку внутреннего пространства героя. Герой изначально «примеряет» орудие убийства не к жертве, а к себе, делая его частью своего телесного пространства, и, в конечном счете, вводя его в систему собственного внутреннего пространства.

Центром *внутреннего левого пространства* человека всегда было сердце, которое определяло, насколько человек *прав* или *неправ*. По сути своей именно сердцем переживается вся полнота пространственного концепта «*левое-правое*», принимается или не принимается одна из составляющих его частей.

Что касается главного героя романа «Преступление и наказание», то ему свойственно быть изображенным в условной нулевой отметке пространственной шкалы «правое-левое» – посередине, *между правым и левым*. Даже убийство старухи он совершает «обеими руками». Это обусловлено пороговым состоянием персонажа, нахождением его в стоп-кадре, в отправной точке, которая совмещает в себе как *правое*, так и *левое* с присущей каждому из концептов семантикой. *Правое* и *левое* часто вербализуются с аксиологическим подтекстом по отношению к Раскольникову. Это и описание его похода в квартиру старухи в день убийства, где, несмотря на запутанность пути, *правое* и *левое* эксплицируются неоднократно. Это и описание места, где герой прячет украденные вещи: «*Справа <...> стена <...>. Слева <...> забор*», а также многочисленные повороты вокруг себя. «Срединное» положение героя можно отметить и после визита к Разумихину, когда Раскольников «неизвестно почему <...> шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят». Нахождение героя в середине или центре пространства определяет его внутреннее состояние, нахождение в точке средоточия всего человеческого. Постоянное присутствие и *правого* и *левого* в изображении героя, резкая смена пространства вокруг Раскольникова, сигнализируют о неуверенности героя в собственной концепции миропонимания, что также свидетельствует о зависании *посередине*. Персонаж как бы интуитивно отличает плохое от хорошего, мало того, он точно знает, «где *правое*, а где *левое*», но не находит в себе внутренней силы, чтобы признать это.

Семантика середины, как мы уже отмечали, имеет негативный оттенок. *Середина* вмещает в себя также потенции различного характера, и правого, и левого, но предполагает осуществление выбора героем, не исключая и явно отрицательного.

Сама природа художественного текста предполагает определенную структуру, которую большинство исследователей определяет как бесконечное семиотическое и семантическое пространство. Как справедливо отмечает Е.С. Кубрякова, «физически такое пространство очерчено весьма точно, но семантически и семиотически – кончено, нет: если у любого знака есть своя интерпретанта, а текст может быть охарактеризован как сложный или даже сверхсложный знак, у него тоже должна быть своя интерпретанта – свой, разъясняющий данный текст **новый текст**. Выход за пределы языковых форм, содержащихся в самом тексте, таким образом, **обязателен**» [Кубрякова, 2001, с. 79]. Концепт, таким образом, является семантическим знаком, функциони-

рующим и формирующимся не только в рамках художественного текста, но и за его пределами.

Художественный текст представляется нам наиболее совершенным способом фиксации и передачи информации подобного рода. Таким образом, именно художественный текст является идеальным транслятором «сгустка культуры», который содержится в концепте. Рассмотрим пример модификаций семантического поля концепта взгляда в лирике во многом ключевого для русской культуры поэта – М.Ю. Лермонтова. Для поэтов-романтиков в целом характерно повышенное внимание к взгляду, независимо от того, идет ли речь о герое прозы или о лирическом герое.

Концепт «взгляд» напрямую связан не столько с внешними, сколько с внутренними характеристиками лирического героя. Взгляд может быть *глубоким, жаждущим, мертвым, молчаливым, мрачным, напряженным, немым, хмурым, холодным, гордым, грустным, вызывающим, дерзким, задумчивым, пылким, тоскливым, убийственным*, иногда *угрюмым*. Эти эпитеты воспроизводят неизменные составляющие широко используемых в поэзии романтизма поэтических клише, таких, например, как у раннего Лермонтова *надменный взгляд* («На картину Рембрандта», 1830–1831), *горячий взор* («Романс», 1829), *недвижный взор* («Ночь III», 1830) и т.п. Во всех случаях соответствующий подбор эпитетов предполагает констатацию определенных качеств извне, но в действительности в лирической системе это кажущееся «извне» пребывает в границах автокоммуникации, где поэт «адресует» видение героя во всех его деталях себе самому. Все эти характеристики в настоящее время входят в дискурс, создающий общее символическое значение концепта «взгляд» в русской литературе и культуре в целом.

В работах разных исследователей не раз упоминалось о том, что «язык формирует своего носителя». По словам С.Г. Тер-Минасовой, «каждый национальный язык не только отражает, но и формирует национальный характер и сознание народа. Иначе говоря, если язык формирует представителя народа – носителя языка, причем формирует его как личность, то он должен играть такую же конструктивную роль и в формировании национального характера» [Тер-Минасова, 2000, с. 85]. Необходимо также отметить, что национальный характер – это набор стереотипных качеств, присущих большинству носителей языка и отраженных в языке.

В качестве вывода отметим следующее. В лингвистических исследованиях сегодняшнего дня все больше внимания уделяется внутреннему миру языковых личностей. Таким образом, можно говорить о таком понятии как «национальная языковая личность», которое включает в себя не

только подстрочный перевод с одного языка на другой, но и осознание всех национальных и культурных аспектов перевода. Интерес ученых фокусируется на изучении человека во всем многообразии его взаимоотношений с окружающим миром, которые осуществляются посредством языка.

Литература

- Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества М., 1979.
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2005
- Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.
- Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.
- Кулибина Н.В. Художественный текст в лингводидактическом осмыслении. М., 2000.
- Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения // Текст. Структура и семантика. Т. 1. М., 2001.
- Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕВОДА КАК ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В.Н. Карпухина

Ключевые слова: аксиологические стратегии, перевод, творчество, комментарий.

Keywords: axiological strategies, translation, creativity, commentary.

Становление глобального коммуникационного пространства существенно влияет на изменение традиционной системы культурной коммуникации. Переводчик в качестве активного участника межъязыковой, межкультурной коммуникации всегда осуществляет процесс своего общения на границе двух или нескольких различных культур.

Дискуссия о творческом / нетворческом характере коммуникативной деятельности переводчика является достаточно актуальной и сегодня. Более того, современные научные парадигмы (аксиологическая и когнитивная, например) предлагают удобный объяснительный аппарат для понимания творческого характера процесса перевода.

В качестве основных методологических принципов исследования выступают следующие положения семиотики художественного текста и теории перевода художественного текста: деятельность переводчика художественного текста является принципиально творческим процессом, происходящим в рамках различных семиосфер; стратегические решения переводчика художественного текста в каждой конкретной ситуации перевода оцениваются в соответствии с определенными аксиологическими параметрами.

Необходимость обозначить области максимального применения творческого начала в переводческой деятельности и определяет основную цель исследования. В качестве цели данной статьи выступает рассмотрение ситуаций автоперевода и переводческого комментирования как ситуаций межкультурной коммуникации, в которых наиболее отчетливо проявляется творческий характер переводческой стратегической деятельности (в ее субъективном и объективном проявлениях).

Перевод как творческий процесс, как искусство, является областью изучения литературоведов и психологов. Лингвистическая теория перевода традиционно изучает перевод в семиотическом и функциональном аспектах. Понятие «творческого» (вольного) перевода в лингвистической теории перевода часто употребляется в негативном смысле: «Свободный (вольный) перевод – перевод, выполненный на более низком уровне эквивалентности, чем тот, которого можно достичь при данных условиях переводческого акта» [Комиссаров, 1990, с. 249]. Есть и противоположная точка зрения, когда противопоставляемые в традиционной теории перевода понятия «буквализм» и «творческий перевод» интерпретируются лишь как сменяющие друг друга этапы развития переводческой мысли: «Буквализм – это не бранное слово, а содержательное научное понятие. Перевод есть всегда равнодействующая между двумя крайностями – насилием над традициями своей литературы в угоду подлиннику и насилием над подлинником в угоду традициям своей литературы. <...> В истории перевода перевешивает попеременно то одна крайность, то другая: это так же неизбежно, как чередование шагов правой и левой ногой» [Гаспаров, 1997, с. 126]. Рассуждая о творческой и переводческой эволюции В. Брюсова, М.Л. Гаспаров полагает, что «переводчики сегодняшнего дня могут найти неожиданно много близкого себе в практике самых ранних, самых вольных брюсовских переводов. А переводчики завтрашнего дня не пройдут мимо поздней буквалистической программы Брюсова» [Гаспаров, 1997, с. 128].

Максимально допустимая степень вольности перевода предполагается в ситуациях автоперевода художественного текста (как, например, в ситуациях автоперевода стихотворных и прозаических текстов, выполненных И.А. Бродским и В.В. Набоковым). В ситуации автоперевода художественного текста утверждение о том, что стратегии текстопорождения при переводе базируются на результатах стратегического процесса текстовой интерпретации, может быть не всегда верным. Достаточно часто художественный текст, переведенный на другой язык самим автором, оказывается результатом параллельного текстопорождения в пределах семиосферы другого языка (или оба текста могут существовать в качестве интерпретационных вариантов). При этом в ситуации автоперевода сам автор гораздо чаще любого профессионального переводчика использует ситуационные стратегии, добавляя или изменяя текст настолько, насколько не считает возможным переводчик. Поэтому автоперевод действительно может считаться способом интерпретации текста. Возможно, в случае перевода поэтических текстов вариант автоперевода является даже более естественным, чем в случае автоперевода прозы: межъязыковая коммуникация (на этапе текстопорождения) осуществляется в системе «Я – Я», или автокоммуникации. С точки зрения Ю.М. Лотмана, «в системе «Я – Я» носитель информации остается тем же, но сообщение в процессе коммуникации переформулируется и приобретает новый смысл. <...> В канале «Я – Я» происходит качественная трансформация, которая приводит к перестройке самого этого «Я» [Лотман, 2000, с. 165]. Несмотря на то, что Лотман имеет в виду коммуникативные процессы внутриязыкового характера, можно говорить о качественных изменениях «Я» автора поэтического текста и в ситуациях межъязыковой коммуникации, когда автор в творческом смысле «примеряет на себя» роль переводчика.

Автор, осуществляющий перевод собственного поэтического текста, интуитивно или сознательно руководствуется так называемой «скопос-теорией» перевода, или теорией функциональной эквивалентности текстов: перевод (особенно в случае текстов эстетической направленности) должен производить то же самое воздействие, к которому стремится оригинал ([Эко, 2006, с. 93]; см. также обсуждение данной концепции перевода К. Райс и Х. Фермеера в: [Комиссаров, 2000, с. 81–83]).

Каждый автор, начиная писать тексты на ином языке, преследует свою цель («скопос»). В.В. Набоков, объясняя разные варианты существования своей автобиографической книги «Conclusive

Evidence» / «Другие берега», использует «механистическую» и «музыкальную» метафоры языковых и сюжетных преобразований. Более того, он утверждает: «Точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо» [Набоков, 2002, с. 26]. Критически осмысляя ситуацию авторского поэтического двуязычия, И.А. Бродский несколько иначе видит ее причины и следствия: «Когда писатель прибегает к языку иному, нежели его родной, он делает это либо по необходимости, как Конрад, либо из жгучего честолюбия, как Набоков, либо ради большего отчуждения, как Беккет. <...> Мое желание писать по-английски не имело ничего общего с самоуверенностью, самодовольством или удобством: это было просто желание угодить тени» [Бродский, 2001, с. 137–138]. Желание оказаться в большей близости к человеку, которого Бродский считал величайшим умом двадцатого века, к Уистану Хью Одну, иронически осмысляемое Бродским в рамках авторско-коммуникации в лирической прозе, дает определенный ключ для понимания причин обращения к английскому языку как иной плоскости существования его собственных поэтических текстов.

Автоперевод позволяет сохранять в тексте, порождаемом в пределах семиосферы другого языка, достаточно большое количество авторских метафор (если они не выглядят естественными выражениями языка перевода, то за счет фигуры автора-переводчика их можно отнести к авторским окказионализмам в пределах иного языка). Стихотворение И. Бродского «То не Муза воды набирает в рот...» (в версии автоперевода на английский – «Folk Tune») [Бродский, 2006, с. 40–42] демонстрирует возможности применения автором-переводчиком абсолютных приоритетных стратегий при передаче метафор и сравнений с русского языка на английский. В первом предложении русскоязычного текста обыгрывается фразеологическое единство *как воды в рот набрать* 'замолчать' с добавлением метафоры-олицетворения существительного *Муза*. В англоязычном тексте данная метафора сохраняется, а игра слов осуществляется за счет актуализации разных значений глагола *to clam up* 'собирать морских моллюсков' / 'стать молчаливым, необщительным'. Точно переданы на английский язык окказиональные метафорические выражения *наезжает на грудь паровым котлом* – *drives a steamroller across his chest*, и *глазами по наволочке лицо растекается* – *the face spills its eyes all over the pillowcase*. Усиление метафорического значения *старости* лирического героя происходит за

счет переводческих добавлений: *я бы заячьи уши пришил к лицу – I would have hare's ears sewn to my bald head*. Данное изменение может рассматриваться как использование автором-переводчиком ситуативной приоритетной стратегии добавления лексемы в текст перевода. Изменения, произведенные автором-переводчиком, касаются и формальной, и содержательной сторон переведенного текста. С точки зрения формальной организации, изменяется такая текстовая характеристика, как точность рифмы (в тексте русскоязычном рифма практически всегда точная и глубокая, в тексте англоязычном это даже не традиционная для английского языка «зрительная рифма», а не всегда удачная неточная рифма: *up – nap, rod – rot, that – pad*).

Использование некоторых ситуативных приоритетных стратегий связано с изменением возможной аудитории, на которую ориентирован англоязычный текст. Нам представляется достаточно справедливым утверждение У. Эко о том, что читатель как активное начало интерпретации – это часть самого процесса порождения текста [Эко, 2005, с. 14]. Данная мысль подтверждается изменениями, внесенными в англоязычную версию стихотворения на уровне так называемых «фонových знаний» возможной аудитории. Название стихотворения «Folk Tune», отсутствующее в русскоязычной версии, позволяет уловить ритмику русской народной песни даже человеку, который не слишком хорошо знаком с подобным литературным жанром.

Таким образом, автоперевод поэтического текста может выступать как некая условная граница между вольным и адекватным текстом художественного перевода при оценке функционирования переводов поэзии в области межъязыковой, межкультурной коммуникации.

Переводчики-практики весьма остро осознают противопоставление технического и творческого начала в переводе. С.Я. Маршак писал: «В слове «перевод» мы ощущаем нечто техническое, а не творческое. Пожалуй, оно вполне оправдывает себя в тех случаях, когда относится к переводу документа, письма или устной речи с одного языка на другой. Иное дело – художественный перевод, немислимый без затраты душевных сил, без воображения, интуиции, словом, без всего, что необходимо для творчества» [Маршак, 1987, с. 131]. Подобной точки зрения придерживался и М.Л. Лозинский, определяя перевод как искусство слова наряду с искусствами пластическими и музыкой [Лозинский, 1987, с. 92]. Интересно, что еще одной областью, в которой может проявиться творческий характер деятельности переводчика (причем здесь должно быть учтено и научное творчество), следует назвать область квалифицированного переводческого комментария.

Именно здесь переводчик, восстанавливая в деталях (или деконструируя) культурно-историческую эпоху существования переведенного текста, оказывается в позиции со-творца, создавая поле смыслов художественного текста совместно с автором текста оригинала. «Вопрос о комментировании художественного текста возникает в виде гипотетической возможности улучшить или оптимизировать его восприятие. Очевидно, что проблема связана с самыми существенными свойствами эстетической коммуникации» [Баршт, 2009, с. 280]. В случае поиска аксиологических критериев при создании эффективно функционирующих комментариев имеют место и критические замечания по поводу зачастую возникающих «комментариев комментариев»: «Известно, что художественный текст описывает себя сам заведомо полнее любого другого описывающего его текста. Вспомним парадокс, о котором писали французские структуралисты: постоянно совершенствуя и доводя до состояния полной адекватности некое лучшее аналитическое рассмотрение художественного текста, через более или менее продолжительный период мы добьемся лишь того, что наше описание текстуально совпадет с первоисточником» [Баршт, 2009, с. 281]. Примером подобного «идеального комментария» может служить известная новелла Х.Л. Борхеса, а «творческим комментарием» к ней – межсемиотические эскерсисы У. Эко в «Маятнике Фуко», великолепно переданные на русский язык переводчицей Е. Костюкович (см. подробнее в: [Карпухина, 2010]).

Творческий характер процесса комментирования подтверждается возможностью сопоставления не только перевода, но и комментария с другими видами искусства – музыкой и театром. «Текст книги становится чем-то вроде музыкального инструмента, на котором можно было исполнять самые различные мелодии, разумеется, в пределах его технических (тематических) возможностей. Комментарий не может не учитывать эти изменения и неизбежное накопление смысла в классическом памятнике» [Баршт, 2009, с. 284]. Однако «научный комментарий не должен вносить в текст новые мелодии, это, в лучшем случае, точное исполнение уже оконченной партитуры; публикация текста с авторским комментарием относится к самому тексту как поставленный спектакль к тексту драматического произведения» [Баршт, 2009, с. 301]. Переводческий комментарий в данном случае может выступать как исполнительский вариант музыкального текста или один из интерпретационных вариантов постановки текста на театральной сцене.

Комментирование позволяет переводчику передать основной текст на другом языке без особых изменений. С другой стороны, ком-

ментарий дает переводчику возможность показать свою компетенцию в области другой культуры и расширить фонд культурологических знаний читателей текста перевода.

Весьма популярный сейчас жанр «интеллектуального детектива» предполагает наличие определенной суммы культурологических знаний у читателей. И если русскоязычные авторы подобного детектива могут позволить себе определенную интеллектуальную игру с читателем, опираясь на возможный общий фонд пресуппозитивных знаний, то в традиции переводного интеллектуального детектива (А. Кристи, У. Эко) входит обязательный редакторский или переводческий комментарий. Эта ориентированность русскоязычного текста на читателя представляется нам очень удачной с прагматической точки зрения (см. подробнее в: [Карпухина, 2006]).

Данной переводческой традиции следовала и переводчица романа Д. Брауна «Код да Винчи» Н. Рейн. Кроме самого первого примечания в романе, касающегося Приората Сиона (оно принадлежит редакции), все остальные примечания и комментарии принадлежат переводчице. Вполне возможно, в этом была сохранена стилистика текста оригинала: Браун дает лишь самый общий начальный комментарий, связанный с Приоратом Сиона [Brown, 2003], а в тексте романа оставляет все лингвистические и культурологические реалии без комментария.

Н. Рейн, в соответствии с русскоязычной просветительской традицией, дает достаточно подробный комментарий реалий, составляющих фоновые знания англоязычного читателя «Кода да Винчи». Эти реалии, выступающие в романе Брауна, как и в романах У. Эко (хотя и не всегда профессионально поданные), могут быть названы лингвистической составляющей любого интеллектуального детектива. Переводческий комментарий в данном случае служит еще более четкому выделению текстовых фрагментов, которые уже определенным образом маркированы автором текста. Здесь обнаруживаются границы двух или нескольких различных культур, а границы семиосферы «являются наиболее «горячими» точками семиообразовательных процессов» [Лотман, 2000, с. 262].

В «Коде да Винчи» подобные текстовые фрагменты, однако, служат для замедления хода действия и направлены на то, чтобы привлечь внимание читателя к разнообразным шифрам, используемым в романе. Н. Рейн весьма удачно пересоздает самый первый шифр, встречающийся в тексте романа: «*O, Draconian devil! Oh, lame saint!*» - «*На вид идола родич! О, мина зла!*» [Браун, 2005, с. 57]. Он является ключевым, поскольку дает первое направление для поисков, предпринимаемых

героями – Робертом Лэнгдоном и Софи Неве: в анаграмме зашифровано имя Леонардо да Винчи и его известнейшего шедевра. Культурологический комментарий, который дается переводчицей в последних главах «Кода да Винчи», связан и с лингвистической игрой слов, встречающейся в тексте из криптекса (Pope – Александр Поп / папа, глава Римской католической церкви; Knight – Найт / рыцарь), и с историко-литературными сведениями о Вестминстерском аббатстве. Комментарий необходим русскоязычному читателю, поскольку не всем известно, что в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства похоронены Джеффри Чосер, Альфред Теннисон, Чарльз Диккенс, и там же находится памятник сэру Исааку Ньютону, который ищут герои романа.

Таким образом, культурологический комментарий помогает приобрести или вспомнить необходимую фоновую информацию для адекватной интерпретации текста детектива. Подобный комментарий несколько нарушает замысел автора (читатель интеллектуального детектива должен обладать весьма обширными знаниями в разных областях), но он прагматически направлен на восполнение возможных пробелов в ситуации межкультурной коммуникации, что и позволяет переводчику подобного текста реализовать свои творческие функции в области комментирования.

Если основной чертой «творчести» любого процесса считать новизну его результатов, то перевод в традиционном понимании этого термина не может быть признан творческим процессом. Однако перевод как деятельность включает использование не только определенных технических приемов (см., например, главу «Техника перевода» в классической монографии по переводоведению: [Комиссаров, 1990]), но и «озарение», «инсайт», приводящий переводчика к приобретению и передаче нового знания.

Этапы творческого процесса, выделенные еще Г. Уоллесом в 1924 году (см.: [Философская энциклопедия, 1970, т. 5, с. 188]), то есть подготовка, созревание идеи, озарение и проверка гипотезы, могут быть применены и при описании фаз творческого переводческого процесса. Однако в этот процесс, помимо переводчика, включаются еще и автор, создающий текст оригинала, и читатель-интерпретатор, следующий в своей творческой деятельности за переводчиком-интерпретатором. Творческие решения переводчик применяет в случае столкновения с так называемой «переводческой проблемой» – ситуацией, не имеющей однозначной интерпретации в процессе перевода.

Эвристический характер мышления человека различает, с точки зрения современных когнитивистов, познавательный процесс человека

и компьютера, какой бы привлекательной ни казалась «машинная метафора» в когнитивной лингвистике [Кубрякова, 1997, с. 23; Кубрякова 2004]. Сами стратегические действия переводчика при порождении текста перевода идут в направлении, обратном процессу порождения текста в рамках одноязычной коммуникации. На этапе интерпретации текста оригинала переводчиком могут быть применены следующие аксиологические (приоритетные) стратегии: 1) построение предикатно-аргументной структуры текста оригинала, 2) определение иерархии предикатов в тексте, 3) определение иерархии актантов, принадлежащих предикатам текста, 4) выявление центральных концептов текста. На этапе порождения текста перевода, который мы считаем принципиально творческим процессом, переводчик использует следующие аксиологические (приоритетные) стратегии: 1) членение исходного замысла текста, 2) пропозиционализация смыслов текста, 3) категоризация смыслов текста. При этом на каждом из этапов интерпретации текста оригинала и порождения текста перевода используется определенный набор параметров, позволяющих переводчику найти максимально эквивалентные средства достижения того коммуникативно-прагматического эффекта, которого достигает текст оригинала на исходном языке (подробнее методике анализа творческих этапов переводческого процесса см. в: [Карпухина, 2008]).

Переводчика, работающего в рамках семиосфер разных языков и культур, вряд ли можно признать свободным от переводимого им текста. Его «свобода творчества» находится в другой плоскости: она существует в возможности множества интерпретаций текста оригинала. Именно в процессе перевода овеществляется, вербализуется множественность смыслов текста, созданного на одном языке и с помощью перевода получающего иное рождение, иное воплощение в семиосфере другой культуры. На творческий характер перевода указывает и «перспективная интертекстуальность» [Гаспаров, 1996, с. 106] сознания переводчика, работающего с художественным текстом, то есть способность его языковой памяти актуализировать в сознании «цитатный» материал уже известных переводчику языковых выражений. Иначе говоря, переводчик творческим образом использует «символический капитал» (термин П. Бурдьё) – те ресурсы, которые могут быть использованы производительным образом, которые обладают универсальной формой, позволяющей их аккумулировать, обменивать, территориально переносить и использовать в разных областях [Назарчук, 2009, с. 159].

Разграничивая воспроизведение и перевод как разные семиотические процедуры, М. Ямпольский подчеркивает, что, хотя и то и другое является повторением, их стратегии противоположны: «Перевод участвует в естественном росте и эволюции языков. Он включен в непрекращающийся процесс становления (в том числе старения и умирания). Перевод часто считают спасением от неизбежного поглощения минувшим, он воскрешает умирающие тексты. Если перевод стремится к восстановлению присутствия, то воспроизведение выражает его утрату» [Ямпольский, 2004, с. 286–287].

Таким образом, оценивая возможности перевода текста художественной литературы и его последующего функционирования в семиосфере другого языка, другой культуры с позиций когнитивистики и коммуникативистики, мы можем назвать работу переводчика творческой деятельностью. В ходе решения эвристических задач переводчик использует определенные аксиологические стратегии текстопорождения и интерпретации текста, в процессе выбора которых он реализует свою творческую функцию как создатель текста художественной литературы на языке перевода.

Литература

- Баршт К. О направлениях и пределах комментирования художественного текста // Вопросы литературы. 2009. № 2.
- Браун Д. Код да Винчи. М., 2005.
- Бродский И. Поклониться тени. СПб., 2001.
- Бродский И. «То не Муза воды набирает в рот...». Folk Tune // Казакова О.В. Особенности художественного перевода. Практикум-хрестоматия. Ростов н/Д., 2006.
- Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.
- Гаспаров М.Л. Брюсов-переводчик. Путь к перепутью // Избранные труды. Т. 2. О стихах. М., 1997.
- Карпухина В.Н. Аксиологические стратегии текстопорождения и интерпретации текста. Барнаул, 2008.
- Карпухина В.Н. Особенности переводческого комментария в интеллектуальном детективе // Художественный текст: варианты интерпретации. Ч. 1. Бийск, 2006.
- Карпухина В.Н. Переводческий комментарий в интеллектуальном детективе // Известия АГУ. 2010. № 2/1 (66).
- Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. М., 2000.
- Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990.
- Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // ИАН. Серия Литературы и Языка. 2004. Т. 63. № 3.
- Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) // ИАН. Серия Литературы и Языка. 1997. Т. 56. № 3.
- Лозинский М.Л. Искусство стихотворного перевода// Перевод – средство взаимного сближения народов. М., 1987.

- Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
Маршак С.Я. Искусство поэтического портрета // Перевод – средство взаимного сближения народов. М., 1987.
Набоков В.В. Другие берега. СПб., 2002.
Назарчук А.В. Осмысление коммуникации в современной французской философии // Вопросы философии. 2009. № 8.
Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970.
Эко У. Роль читателя. СПб., 2005.
Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006.
Ямпольский М. Язык – тело – случай. Кинематограф и поиски смысла. М., 2004.
Brown D. The Da Vinci Code. New York – London – Toronto – Sydney – Auckland, 2003.

КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ СЕМАНТИЗАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В УЧЕБНОМ СЛОВАРЕ

Е.И. Роголева

Ключевые слова: учебная фразеография, коммуникативно-ориентированный словарь, семантизирующий контекст.

Keywords: training phraseography, communication-oriented dictionary, context for semantic interpretation.

Одной из современных фразеографических тенденций является поиск способов адекватного отражения коммуникативно-прагматических особенностей фразеологических единиц (ФЕ).

Наше исследование показало, что формат разработанных нами коммуникативно-ориентированных учебных фразеологических словарей [Роголева, 2009а, 2009б, 2009в, 2009г] позволяет более полно, чем в имеющихся отечественных учебных словарях [Волина, 2001; Ставская, 2002; Соболева, 2007; Ушакова, 2004; Розе, 2005; Волков, 2009], отразить особенности речевой реализации фразеологического значения в самых разных условиях текстового окружения ФЕ или фразеологического контекста. И здесь большую роль сыграл тщательный отбор и конструирование семантизирующих контекстов, отражающих «актуальные, жизненные проблемы и вызывающих у учащихся живую мысль, желание высказаться, спорить, не соглашаться, заставляющие их решать различного типа речевые задачи» [Щарнас, 1982, с. 460]. При этом мы отталкивались от исчерпывающего определения контекста, которое предлагает Е.А. Добрыднева: «Контекст – фрагмент текста

(монологического, диалогического), в котором ФЕ выступает в тесной связи с другими элементами речи, и в котором с позиции говорящего гарантируется адекватная интерпретация адресатом фразеологического смысла» [Добрыднева, 2006, с. 265].

Также мы учитывали соотношение понятий «фразеологическое значение» и «контекст» [Шихова, 2009].

В подготовленном нами к печати «Детском фразеологическом словаре-тренажере» (ДФСТ) представлены три типа контекста, выделяемые В.Т. Бондаренко [Бондаренко, 2009, с. 14], который вслед за А.В. Куниным, определяет информативный объем фразеологического контекста как минимальный, но достаточный для включения ФЕ в текст.

Внутрифразовый фразеологический контекст, как отмечает В.Т. Бондаренко, реализуется в границах одного предложения / высказывания. Актуализаторами фразеологической семантики здесь являются отдельные слова, группы слов, вступающие в синтаксические отношения с фразеологизмом [Бондаренко, 2009, с. 14], и, добавим, в определенные смысловые отношения с ним.

Внутрифразовый контекст, элементы которого повторяют компоненты описательного толкования ФЕ, обозначим как *описательно-определяющий*. В таком контексте фразеологизм может выступать в синтаксической позиции обобщающего «слова» при однородных членах, являющихся элементами «контекстуальной» дефиниции: *Федот – свободный человек, ни от кого и ни от кого не зависит, словом – вольный казак <...> Ну, опять завел волюнку: одно и то же повторяешь по сто раз, надоел уже!* Связь фразеологизма и его лексических коррелятов устанавливается в рамках предложения и при помощи вводной конструкции, указывающей на источник информации: *И писем от тебя пришло очень мало, как говорит почтальон Мышкин, - кот наплакал.*

Разработка данных семантизирующих контекстов, в той или иной степени повторяющих дефиницию, является одним из перспективных направлений учебной фразеологии, так как повторная контекстуальная семантизация позволяет адресату преодолеть эмоциональный дискомфорт при чтении незнакомого текста.

Внутрифразовый контекст может быть и *описательно-конкретизирующим*, раскрывающим содержание, передаваемое фразеологизмом в конкретной ситуации.

Так, значение фразеологизма *кот наплакал* конкретизируется в рамках фразы количественно-именными сочетаниями со значением малого количества:

Сколько в миске молока? – Кот наплакал – два глотка.

Сколько кофе выпил шеф? – Кот наплакал – меньше всех.

...Значит, прибыль с февраля – кот наплакал – три рубля.

Фразеологизм *от А до Я* семантизируется в контексте перечислением действий, качеств субъекта, создающем представление о полноте, основательности его знаний, навыков:

Арифметику Илья изучил от А до Я:

Умножает без труда двести пять на триста два,

Вычитает без проблем из двух тысяч триста семь,

Но делить с сестренкой груши очень трудно для Илюши.

Заявляет Лиза гордо: «Я почти что мастер спорта,

Знаю все от А до Я: как работает судья,

Как в кольцо забросить мяч, как сыграть ответный матч».

Жаль, что выбирает Лиза не спортзал, а телевизор.

Идентифицирующий внутрифразовый контекст может быть синонимическим или антонимическим.

Особенно часто внутрифразовая «семантизация» ФЕ осуществляется за счет его синонимов, расположенных по отношению к фразеологизму контактно или дистантно, стоящих в препозиции (*Ну и умная же ты девочка – семи пядей во лбу. Если у вас пропал пульт от телевизора, затерялся дневник или любимый компакт-диск как в воду канул, – мы быстро и эффективно организуем поиски*) или постпозиции (*Ты что, царь, в кошки-мышки со мной играешь, пытаешься схитрить? Надеемся, что и ты не растеряешься, когда нужно будет бить во все колокола, поднимать тревогу. Стали невнимательными, рассеянными – на уроке считают ворон*).

Как актуализаторы фразеологической семантики во внутрифразовом контексте используются и антонимы (языковые и контекстуальные) с синтаксической поддержкой противопоставления (конструкции *не..., а...; ..., а не ...*): *А вырабатываться воля начинает с того, что ты заставляешь себя писать не как курица лапой, а прикладываешь большие усилия, стараешься писать каллиграфическим почерком. Выходит, что наши успехи – не по щучьему веленью, а благодаря нашему труду. Трутни – это пчелы-бездельники, которые не рабо-*

тают, а бьют баклуши. А ведь тот, кто всегда точен и приходит вовремя, а не к шапочному разбору, имеет возможность выбирать.

На такие отношения фразеологизма и его текстового окружения указывает и Т.Е. Помыкалова в постпозиции или препозиции находясь лексемы, которые называют положительное качество характеризуемого человека, а анализируемая фразема выступает в некоторой оппозиции к ним. Эта семантическая оппозиция строится на противопоставлении положительного значения лексем и отрицательной смысловой части содержательного объема фразеологизма [Помыкалова, 2004, с. 85].

Наличие большого количества иллюстративного материала в ДФСТ позволяет подчеркнуто актуализировать определенные семы фразеологического значения, например, для фразеологизма *заморить червячка*: *Перед ужином пока заморю я червячка* (С.Я. Маршак) – не основной прием пищи; *Теперь-то заморить недурно червячка хотя бы с помощью холодного сверчка* (Э. Ростан) – небольшое количество пищи. Или для фразеологизма *отрезанный ломоть* – семы ‘родители’, ‘родной дом’, ‘разрыв связей’: *Я видел опять отца и мать, всю обстановку родного гнезда и с особой яркостью осознавал, что я – отрезанный ломоть навсегда и что возврата нет и не может быть...* (Д.Н. Мамин-Сибиряк). Ср.: значение фразеологизма *отрезанный ломоть* – ‘человек, который отделился от семьи и не поддерживает с ней тесную связь’.

Формально к внутрифразовому можно отнести и контекст, ограниченный рамками предложения / высказывания и опирающийся на фоновые знания адресата, культурологическую или социокультурологическую пресуппозиции, сосредоточенные в сфере детской литературы и оценочных стереотипов, утвердившихся в современном обществе:

В какой стране Гулливер был коломенской верстой – в стране великанов или в стране лилипутов?

*Стать коломенской верстой
Нужно Кольке быстро,
Ведь Наташа смотрит только
На баскетболистов.
Аня хочет быть моделью,
Рост что надо у нее.
Бать коломенской верстою –
Это модно, вот и все.*

О «фразовом контексте» В.Т. Бондаренко говорит в случае употребления ФЕ как реплики в составе диалогического единства [Бондаренко, 2009, с. 14]. В нашем материале такую позицию часто занимают коммуникативные ФЕ со структурой предложения:

- *Не пей, братец, козленочком станешь!*
- *Тыпун тебе на язык, сестрица Аленушка.*

- *Мать ужин готовит. Помоги ей воды из колодца принести.*
- *Моя хата с краю. Я с тамагочи играю.*

Особенно часто в ДФСТ используется «сверхфразовый контекст» (макроконтекст), который определяется как отрезок текста, образующий вместе с ФЕ сложное синтаксическое целое (ССЦ) или абзац и воссоздающий конкретную ситуацию действительности или обстоятельство общения [Бондаренко, 2009, с. 14].

В сверхфразовом контексте используются те же способы экспликации значения ФЕ, что и во внутрифразовом.

В такой контекст может вводиться описательное толкование фразеологизма.

*Я, Ленивица, любила **проводить время без пользы**. После встречи в лесу с дедушкой Морозко решила заняться самовоспитанием. Сначала научилась набирать текст на компьютере, а теперь профессионально занимаюсь компьютерной графикой – оформляю книги, журналы. У меня нет отбоя от клиентов и нет времени **бить баклуши**.*

Имеются примеры лингводидактического разворачивания фразеологической семантики в рамках ССЦ, когда, обращаясь к читателю в интерактивном задании, автор переносит его в плоскость языковой теории, возвращая к дефиниции фразеологизма:

*Спасибо, ты поработал на славу. А сейчас самое время – реально заморить червячка. **Если ты хорошо разобрался в значении этого фразеологизма**, то понимаешь, что мы с тобой не будем плотно завтракать, обедать или ужинать, а просто **слегка перекусим** бутербродами, **чтобы смягчить чувство голода**.*

*Возьми маленькое зеркальце и подойди к окну. Посмотришь в зеркальце, изобрази на лице **растерянность, недоумение, непонимание**, то есть **проиллюстрируй значение фразеологизма смотреть как баран на новые ворота**.*

Актуализация фразеологической семантики за счет синонимов осуществляется в сверхфразовом контексте, как правило, в рамках контактно расположенной фразы: ***Умница! Прямо семи пядей во***

лбу! Опять ты, царь, со мной в кошки-мышки играешь. Зачем обманываешь? Ведь сам павлинов перевернул, вот они в слонов и превратились. Я, Стрекоза, била баклуши все лето. Попав на перевоспитание к Муравью, очень быстро отучилась бездельничать. Теперь я сама преподаю рукоделие в лесной школе. А Муравью спасибо за науку!

Сверхфразовая синонимическая семантизация ФЕ может сочетаться с внутрифразовой и усиливаться игровой аллюзией: например, в статье «Без царя в голове» - название города Глуповска, жители которого *«все без царя в голове – несообразительные, ограниченные. Одним словом, глупые»*.

Конкретизирующие иллюстративные контексты в объеме сложного синтаксического целого или абзаца в занимательной форме представляют в ДФСТ одну из референтных ситуаций, к которой применим фразеологизм, с достаточной для его идентификации полнотой. При этом фразеологизм задается инициальной автосемантической фразой ССЦ, за которой следует разворачивание ситуации употребления ФЕ: *Возможно, в этом сезоне дед останется без репки, потому что у него семь пятниц на неделе. То он позовет внучку и Жучку, а бабушку отправит домой, то снова вызовет бабушку, а Жучку отправляет за кошкой. Приходит кошка – он просит уйти внучку. Мышке надоело ждать. Она хвостиком махнула и убежала в другую сказку.*

В этом же типе фразеологического контекста ФЕ может выступать и в заключительной, резюмирующей фразе, к которой читателя подводит предшествующее описание ситуации, как, например, в статье «Смотреть со своей колокольни», где иллюстративные микротексты рассказывают об истреблении воробьев с целью сохранить урожай зерновых, после чего посевы страдают от насекомых, или об истреблении комаров, что приводит к гибели ящериц, кошек, нашествию крыс и эпидемии занесенной крысами чумы. Эти микротексты подытоживают фразы: *Не должен человек смотреть со своей колокольни на природу; Вот что значит – смотреть со своей колокольни.*

Несмотря на то, что исследования фразеологического контекста ограничиваются материалом от простого предложения до сверхфразового единства [Авдеева, 2006; Бондаренко, 2009; Добрыднева, 2006; Сергеева, 2009], учебный словарь допускает использование в качестве иллюстраций объемных текстов, включающих несколько сферхфразовых единств или абзацев, которые после-

довательно раскрывают значение фразеологизма, стоящего по отношению к такому «гиперконтексту» в препозиции, как например, в стихотворении М. Шаповаловой (ДФСТ):

*Мамай прошел – все вверх тормашками:
установлен стол тарелками и чашками,
здесь пировали, здесь - забили гол
в окно (играли варвары в футбол).*

Следующие четыре строфы передают картину беспорядка в бабушкиной квартире после отъезда гостей – внучек.

Как и в сверхфразовом контексте, фразеологизм может использоваться в резюмирующем, завершающем текст предложении, как, например, в статье ДФСТ «Расхлебывать кашу», где к читателю с просьбой помочь обращаются сказки (они ездили друг к другу в гости и так загостились, что перепутались, перемешались). Вот эту кашу и должен теперь расхлебывать юный читатель. Или в статье «Вить веревки», где измученная командами окружающих избушка на курьих ножках возмущается в заключительных репликах полилога: «Вы что, ребята, веревки из меня вить надумали? Не получится! Если хотите знать, я почти что страус. Так что – всем привет! Я убегаю!»).

Включение в словари таких фразеологических гиперконтекстов позволяет проиллюстрировать функционирование фразеологизма и в роли заголовка. Именно эта позиция привлекает все большее внимание исследователей коммуникативно-прагматических свойств и текстообразующего потенциала ФЕ. По наблюдениям А.Н. Зеленова, фразеологический оборот, выступая в роли заголовка (газетного), нередко оказывается более эффективным текстообразующим средством, чем слово, словосочетание и даже предложение. Текстообразующая роль заголовка-фразеологизма заключается в том, что он, как правило, является структурной и смысловой доминантой текста, во многом предопределяя его стилевую, эмоционально-экспрессивную тональность, а также жанровое своеобразие [Зеленов, 2007].

Иллюстративные тексты и тренировочные задания, в заголовки которых включены фразеологизмы, размещены в статьях ДФСТ «Садиться/сесть не в свои сани», «Стричь под одну гребенку», «Подкладывать/подложить свинью», «Как по щучьему веленью», «Коломенская верста».

Фразеологизм может включаться и в заголовок рубрики, объединяющий несколько текстов, например, в ДФСТ: «Анекдоты про

людей без царя в голове» (статья «Без царя в голове»), «Первые ласточки: наблюдения, изобретения, открытия, достижения» (статья «Первая ласточка»), «Кому хоть кол на голове теши и как с этим бороться» (статья «Хоть кол на голове теши»), «Вертитесь ли вы как белка в колесе и как вы к этому относитесь?» (статья «Вертеться (крутиться) как белка в колесе»).

По степени поддержки контекстом фразеологического значения выделяют сильную позицию ФЕ, когда контекст поддерживает его основное значение, и слабую контекстуальную позицию, когда поддерживается не основное значение ФЕ или контекстуальная поддержка вообще отсутствует [Авдеева, 2006, с. 265–266].

Все текстовые иллюстрации учебных рубрик ДФСТ построены так, что фразеологизмы выступают здесь в сильной контекстуальной позиции. В заключительных рубриках словаря («Минутка здоровья», «Творческая мастерская») значение фразеологизма намеренно не поддерживается текстом, содержащим правила спортивных игр, советы кулинарам, рукодельницам и т.п. Но и в этих случаях гиперконтекстом фразеологизма можно считать текст всей словарной статьи. Например, в статье «Писать как курица лапой» (рубрика «Минутка здоровья»):

*Как курица лапой писать не хочу,
Зарядку для пальцев сейчас разучу.
Зарядка для пальцев предельно проста:
Сжимаем эспандер – считаем до ста.*

При нулевом речевом контексте в отдельных заданиях ситуация употребления ФЕ воссоздается графически – в рисунках, комиксах, фотографиях (статьи «Смотреть со своей колокольни», «С три короба», «Как Мамай прошел», «Конь не валялся», «Нести околосолицу» и др.).

Таким образом, разные типы семантизирующих контекстов в Детском фразеологическом словаре-тренажере позволяют «донести» адресату не только семантику фразеологизма как языковой единицы, но и коммуникативно-прагматическую специфику реализации фразеологического значения в современной речи.

Литература

- Авдеева О.И. Внешняя синтагматика фразем как составляющая дискурса // Слово – сознание – культура. М., 2006.
Бондаренко В.Т. Устойчивая фраза и контекст // Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме. Великий Новгород, 2009.
Волина В.В. Фразеологический словарь. СПб., 2001.

- Волков С.В. Уникальный иллюстрированный фразеологический словарь для детей. СПб., 2009.
- Добрыднева Е.А. Фразеологические единицы в реализации коммуникативных установок субъекта речи // Слово – сознание – культура. М., 2006.
- Зеленов А.Н. Фразеологизм в роли газетного заголовка // К 60-летию профессора А.В. Жукова. Великий Новгород, 2007.
- Помыкалова Т.Е. Фразеологические единицы признака как объект фразеографической практики в русском языке // Словарное наследие В.П. Жукова и пути развития русской и общей лексикографии (Третьи Жуковские чтения). Великий Новгород, 2004.
- Рогалева Е.И. К концепции интерактивного учебного словаря // Известия Волгоградского гос. пед. университета. Серия «Филологические науки». 2009а. № 7(41).
- Рогалева Е.И. К концепции учебного фразеологического словаря-тренажера // Актуальные проблемы лингвистического образования. Самара, 2009б.
- Рогалева Е.И. О словарном проекте «Фразеология для детей» // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularim. Гродно, 2009в.
- Рогалева Е.И. Русская фразеология и русская культура в детском словаре // Мир русского слова. 2009г. № 4.
- Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для детей. М., 2005.
- Сергеева Г.Н. Контекстные значения фразеологизма в душе // Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме. (Третьи Жуковские чтения). Великий Новгород, 2009.
- Соболева О.Л. Универсальный словарь по русскому языку : Начальная школа. М., 2007.
- Ставская Г.М. Учусь понимать образные выражения : Фразеологический словарь. М., 2002.
- Ушакова О.Д. Почему так говорят : Фразеологический словарь школьника. СПб., 2004.
- Шихова Т.М. К вопросу о соотношении понятий «фразеологическое значение» и «контекст» // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 5.
- Щарнас В. Теоретическая концепция доброкачественного учебника // Rusky jazyk. 1981–1982. № 10.

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИПНОЛОГИЯ В РОМАНАХ И.С. ТУРГЕНЕВА: ПРЕДСОНЬЕ И СОН

С.А. Свиридов

Ключевые слова: гипнология, онейросфера, мифопоэтика, архетип, нарративная структура.

Keywords: hypnology, oneirosphere, mythopoetics, archetype, narrative structure.

Исследования, посвященные вопросам функционирования снов и сновидений в художественной системе литературного произведения, в современной науке объединились в особый раздел литературоведения, получивший название художественная гипнология¹. К исследовательской парадигме художественной гипнологии можно отнести целый ряд работ, среди которых следует выделить труды Ю.М. Лотмана, В.И. Порудоминского, Ю.М. Чумакова, В.В. Савельевой, разрабатывающих теоретические основания указанного подхода к анализу художественных произведений, в которых сон выступает как функционально значимый элемент текста².

В произведениях И.С. Тургенева снам принадлежит особое место. Как заметил А.М. Ремизов, «Тургенев – сновидец. Ни один писатель не оставил столько снов – редкий тургеневский рассказ без сна» [Ремизов, 2002, с. 263]. Художественные функции снов в произведениях И.С. Тургенева обычно рассматриваются на материале «таинственных повестей», «Стихотворений в прозе» и романа «Накануне». Наименее

¹ Термин «художественная гипнология» активно используется в работах В.В. Савельевой, которая рассматривает область художественной гипнологии (или художественной онейрологии) в тесной связи с авторской антропологией [Савельева, 2007, с. 173].

² См.: [Лотман, 2000, с. 123–126; Руднев, 1990, с. 121–124; Порудоминский, 1997, с. 129–149; Чумаков, 2000; Савельева, 2007, с. 173–193].

изученными с точки зрения семиотики снов и сновидений, участвующей в создании поэтического подтекста, и их функциональной значимости в сюжетно-композиционной организации текста оказались романы Тургенева, в которых «удельный вес» эпизодов, связанных с описанием погруженности персонажей в сон, меньше, нежели, например, в «таинственных повестях» или «Стихотворениях в прозе», где мотив сна доминирует. Вместе с тем, репродуцирование в текстах романов Тургенева *сна* как семиотически значимой единицы нарративной структуры, маркирующей кульминационные моменты духовной жизни персонажей, позволяет рассматривать его как *мотив*, участвующий в сюжетно-композиционной организации художественного целого.

Структура и семантика видений, посещающих героев Тургенева в состоянии предсонья и сна, по характеристике В.Н. Топорова, «одно из ценнейших свидетельств «архетипического», которым располагает русская культура» [Топоров, 1998, с. 73]. Изучение поэтической составляющей и семиосферы художественной гипнологии в романах Тургенева требует обращения к возможностям мифопоэтического подхода, позволяющего интерпретировать архетипический уровень текста. Функциональность гипносферы напрямую зависит от фазы сна, в связи с чем, в процессе анализа текстов романов Тургенева рассматриваются такие состояния персонажей, как *предсонье* и *сон*.

Предсонье характеризует ощущения между сном и бодрствованием, когда герой не осознает наяву он или во сне. По определению Эмиля Куэ, «предсонье, глубокая релаксация – естественное аутогипнотическое состояние мозга» [Куэ, 2005, с. 49]. Описание состояния предсонья в романах Тургенева выступает как важный элемент «тайного психологизма» автора. В эти моменты герои склонны к мечтаниям, видениям, бессознательному погружению в инореальность. К.В. Лазарева, проанализировав семиотическое поле понятия «сон» на материале «таинственных повестей» Тургенева, отмечает что, «сон вместе с видениями, “мечтаниями”, галлюцинациями (которые также являются плодами бессознательного), другими зрительными “фантазиями” входит в один и тот же класс явлений, которые, собственно, и могут быть названы “мечтаниями”» [Лазарева, 2002, с. 266]¹.

Состояние предсонья открывает двери в бессознательное; восприятие мира в это время имеет зыбкие грани между реальностью и ирре-

¹ На функциональную однородность сна и мечты в произведениях Тургенева указывается также: [Ремизов 2002, с. 266].

альностью. Предсонье отличается от сна тем, что сфера подсознания не полностью лишена контроля сознания. Мысли героя могут сознательно направляться в определенное русло. Так, описывая «дорожное онемение» Лаврецкого, автор изображает типичное состояние предсонья. Видения являются не сами по себе, они направляются мыслью героя: *«Лаврецкий закрыл глаза. Заснуть он не мог, но погрузился в дремотное дорожное онемение. Образы прошедшего по-прежнему, не спеша, поднимались, всплывали в его душе, мешаясь. <...> Лаврецкий <...> стал думать о Роберте Пиле <...> о французской истории <...> о том, как бы он выиграл сражение, если б он был генералом»* (Полужирный курсив здесь и далее мой. – С.С.) [Тургенев, 1976, т. 7, с. 183].

Анализ текста романа позволяет найти объяснение направлению предсонных мечтаний Лаврецкого, который, прежде чем погрузиться в «думы» о том, *как бы он выиграл сражение*, размышлял о Лизе Калитиной и Паншине. Паншин причудливым образом ассоциируется у Лаврецкого с английским политиком Робертом Пилем, а себя Лаврецкий представляет генералом-победителем. В этих мечтаниях Федора Лаврецкого подсознательно проявляется его желание одержать победу в любовном соперничестве.

В предсонных видениях Нежданова («Новь») проявляется его неуверенность в своих чувствах, страх перед любовью женщины: *сквозь тусклую завесу «виднелись ему только три лица, и все три женских, и все три упорно устремляли на него свои глаза. Это были: Сипягина, Мацурина и Марианна»* [Тургенев, 1976, т. 9, с. 202]. Не сумев разобраться в своих чувствах и ответить на вопрос *«И что хотят они от него?»*, Нежданов пытается уснуть, убежать таким способом от мучающих его вопросов: *«Он лег спать рано, но заснуть не мог»* [Тургенев, 1976, т. 9, с. 202]. Подобным образом герой переживает и чувства, вызванные предсонным видением Марианны: *«Чего ей нужно? – шепнул он про себя, и стыдно ему стало. «Ах, хоть бы поскорее заснуть!» Но с нервами сладить трудно... и солнце стояло уже довольно высоко на небе, когда он, наконец, заснул тяжелым и безотрадным сном»* [Тургенев 1976, т. 9, с. 198].

Таким образом, мечтания героев в состоянии предсонья коррелируют с их еще до конца не осознанными желаниями, делая их явными для читателя.

С учетом танатологической семантики сна¹ предсмертные видения героев Тургенева могут рассматриваться в том же семантическом ключе, что и предсонье. Так, в романе «Новь» самоубийство Нежданова изображается как переход от бодрствования ко сну. Характерной деталью в поведении Нежданова за мгновение до того, как он спустил курок, является то, что он *«зевнул»*: *«взглянув сквозь кривые сучья дерева, под которым он стоял, на низкое, серое, безучастно-слепое и мокрое небо, зевнул, пожался < ... > и, заранее ощутив во всем теле какую-то слащавую, сильную, томительную потягому, приложил к груди револьвер, дернул пружину курка»* [Тургенев, 1976, т. 9, с. 376].

Таким образом, самоубийство совершается как бы в состоянии предсонья, как «отход ко сну». Налицо слияние художественной гипнологии с авторской танатологией. Собственная смерть предсказана Неждановым в его стихотворении, обращенном к другу – Силину: *«Сам умру я, засыпая.../ И предсмертной тишины / Не смутив напрасным стоном, / Перейду я в мир иной, / Убаюкан легким звоном / Легкой радости земной!»* [Тургенев, 1976, т. 9, с. 203]. Однако в действительности умирание героя сопровождается не ощущением *«легкой радости земной»*, а видом *«безучастно-слепого и мокрого неба»*.

В предсмертном видении Нежданова появляется целый ряд мифопоэтических образов, среди которых выделяются семантически значимые образы женщины (*«Татьяна недаром померещилась Нежданову...»*) и дерева – яблони [Тургенев, 1976, т. 9, с. 376].

Таким образом, в предсмертных видениях Нежданова актуализируются элементы архетипического контекста. З. Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия» отмечает, что образ женщины являет собой архетипическую тень, которую можно сравнить с танатосом, инстинктом или влечением к смерти на почве разочарования в любви [Фрейд, 1992, с. 142–227]. Усиливает архетипичность сцены дендроидный код (*«увидела его под яблонью»*).

Дендроидный код, актуализируясь в лейтмотиве смерти, выступает в образе «старой яблони», под которой герой совершает самоубийство. Старая яблоня изображается явно через восприятие Нежданова (хотя дискурсивно внутренняя речь персонажа не выражена). Автор фиксирует внимание на антропоморфных ассоциациях, мотивированных психологическим состоянием самоубийцы: *«широховатые обнаженные сучья, с кое-где висевшими красновато-зелеными листьями,*

¹ Связь мотивов сна и смерти восходит к мифологической традиции. М. Элиаде отмечает, что «в греческой мифологии Сон и Смерть, Гипнос и Танатос – два брата-близнеца» [Элиаде, 2010, с. 129].

искривленно поднимались кверху, наподобие старческих, умоляющих, в локтях согбенных рук» [Тургенев, 1976, т. 9, с. 375]. Геронтологические коннотации связаны с субъективными ощущениями Нежданова, который почувствовал себя отжившим свой век стариком («...я умираю – и, стоя на конце жизни, гляжу на себя как на старика»), – записывает герой в своем предсмертном послании) [Тургенев, 1976, т. 9, с. 378]. Архетип яблони связан с образом сада Гесперид, который находится на западе, где заходит солнце, а это направление связано с движением к смерти и входом в бессознательное. По народным представлениям, если в видениях является яблоня, то она предвещает смерть. Сцена самоубийства под яблоней не может быть рассмотрена как видение «в чистом виде», однако вся она отмечена вторжением «бессознательно-го» в поступки персонажа.

А.М. Ремизов рассматривает сны Тургенева как *знаки* духовного мира персонажей: «От загадочных явлений жизни близко к явлениям сна, в которых часто раскрывается духовный мир. А язык духовного мира – не вещи сами по себе, а знаки, какие являют собою вещи» [Ремизов, 2002, с. 285].

Большую смысловую нагрузку несут сны в «Отцах и детях». Так, сон Базарова, показывает духовное состояние героя, накануне кризисной, преддвуэльной ситуации: «...Всю ночь его мучили беспорядочные сны... Одицова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Феничка; а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться» [Тургенев, 1976, т. 8, с. 287]. Во сне важен образ матери Базарова, которая: «боялась <...> черных кошек» [Тургенев, 1976, т. 8, с. 257]. На уровне цветовой семантики, черные усики кошечки, отсылают к суевериям матери Базарова, и становится понятно, почему в сон введена Феничка – она послужила причиной дуэли. Во сне, таким образом, восстанавливаются причинно-следственные связи между ключевыми сюжетными событиями. Поэтому Базарову и нужно драться с «*большим лесом*» – Павлом Петровичем. Мифологема леса – это дорога в мир мертвых, так как лес является средним миром, находящимся между верхним – сакральным и нижним – миром мертвых. Место дуэли как раз было в непосредственной близости от леса: «*Дорога из Марьино огибала лесок*» [Тургенев, 1976, т. 8, с. 288]. В сновидной реальности Базаров бессознательно анализирует причины, которые привели к дуэли, и в сон вплетается мотив смерти.

В романе «Накануне» сон постоянно коррелирует с мотивом смерти. Так, во сне Елены мотив смерти актуализуется через сему «во-

ды): «она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми», дальше озеро превращается в «беспокойное море» [Тургенев, 1976, т. 8, с. 143]. Усиливает мотив смерти повторяющийся во сне Елены эпизод отъезда из Москвы: «И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке» [Тургенев, 1976, т. 8, с. 143]. Лодка и повозка выступают в данном случае в символической функции как предметы погребального ритуала¹. Сон Елены – это инициация смерти, подготовка к ней. Особое значение символу моря в творчестве Тургенева придавал В.Н. Топоров; в его интерпретации, «в образе смерти у Тургенева выступает море»; «тема смерти часто становится у него местом встречи “сознательного” с “подсознательным”» [Топоров, 1998, с. 138].

Художественная гипнология вскрывает множество мифопоэтических кодов в романе Тургенева «Накануне». Так, сны Дмитрия и Елены несут большую мифопоэтическую нагрузку. Это и мифопоэтическая семантика кодов «мирового древа» и «камня»: «*Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень*» [Тургенев, 1976, т. 8, с. 104]. Эти мифологемы имеют пространственно-временное значение, где мировое древо связывает мир живых, мир мертвых и божественный мир, а сема «камня» отсылает к вратам в потусторонний мир. С точки зрения нарративной структуры, сновидения входят в повествование как вставные новеллы. Вместе с тем, содержание сновидений не изолировано от сюжета, оно зачастую предвосхищает важные события в жизни героев, психологически подготавливает к ним не столько героев, сколько читателей, подпитывая читательский интерес.

Таким образом, онейросфера в романах Тургенева выполняет различные функции: пророческую, психологическую, выступает в качестве формы авторской дискурсии, актуализирует архетипический подтекст. Снов, в полном значении этого слова, в романах Тургенева не так уж много, но в совокупности с другими элементами художественной гипнологии (мечтания в состоянии предсонья, предсмертные видения) сон вскрывает множество мифопоэтических кодов и позволяет проникнуть в мир тайного психологизма автора. Сон и предсонье являются сферой преломления творческого мировидения И.С. Тургенева, его понимания метафизической природы духовной жизни человека, важным элементом поэтического мира его романов.

¹ На это указано в работе: [Ремизов, 2002, с. 296].

Литература

- Ермакова Н.А. Ландшафт смерти в произведениях И.С. Тургенева // Критика и семиотика, 2010. Вып. 14.
- Козубовская Г.П. Середина XIX века : миф и мифопоэтика. Барнаул, 2008.
- Куз Э. Сознательное самовнушение как путь господства над собой. М., 2005.
- Лазарева К.В. Мифопоэтика «таинственных повестей» И.С. Тургенева : дис. ...канд. филол. наук Ульяновск, 2005.
- Лотман Ю.М. Сон – семиотическое окно // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.
- Михайличенко Г.А. Мифопоэтический подтекст романа Тургенева «Накануне» // Филология и человек. 2008. № 2.
- Порудоминский В.И. «Особенно оживленная деятельность мозга». Сны и сновидения в духовных исканиях Толстого // Человек. 1997. № 6.
- Ремизов А.М. Огонь вещей. Сны и предсонье // Ремизов А.М. Собр. соч. : В 10-ти тт. Т. 7. М., 2002.
- Руднев В.П. Культура и сон // Даугава. 1990. № 3.
- Савельева В.В. Художественная антропология и художественное творчество // Художественная антропология и творчество писателя. Усть-Каменогорск; Алматы, 2007.
- Топоров В.Н. Странный Тургенев (четыре главы). М., 1998.
- Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 12-ти тт. М., 1976.
- Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М., 1992.
- Чумаков Ю.Н. Сны «Евгения Онегина» // Сибирская пушкинистика сегодня. Новосибирск, 2000.
- Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2010.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ ПОВЕСТИ ТАГАЯ МУРАДА «СУМЕРКИ, КОГДА ЗАРЖАЛ КОНЬ»

М.Р. Бобохонов

Ключевые слова: узбекская проза конца XX века, психологическая доминанта, художественная деталь, сравнения, обряды, диалог, деталь.

Keywords: Uzbek prose of the end of the XX-th century, a psychological dominant, an art detail, comparisons, ceremonies, dialogue, a detail.

Повесть Тагая Мурада «Сумерки, когда заржал конь» интересна не просто своей стилизованной формой, но и авторскими «находками» в создании точного национального характера. Отмечу, что сначала узбекская критика достаточно негативно отнеслась к подобной форме повествования, упрекая автора в недостаточном прочтении западной

литературы (У. Фолкнера, Д. Стейнбека). Повествование ведется от лица пастуха Зиедуллы-плешивого, мастера улака (национальная узбекская конная игра) с таким дастанным обращением к читателю: «Братья». Это определяет интонационно-синтаксический строй, ритмическую и темповую организацию повествования, усиливает внимание к той или иной ситуации, в которую попадает «повествователь». Тагай Мурад вписывает в сюжет конкретное пространство Сурхандарьи, горные кишлаки Байсуна, которое породило легендарный «Алпамыш». Поэтому правомерным героем всего повествования является конь Тарлан. В повести, как в народном сказании, порок наказан, и добро побеждает, что несколько снижает логическую мотивированность финала произведения. Следует подчеркнуть, что тандем «человек-конь» есть счастливый прецедент для восточного повествования. Достаточно вспомнить «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова. Но Тагай Мурад подчеркнуто уходит от подобных аналогий, оставляя только способ повествования. Национальный характер Зиедуллы-плешивого выражает весь строй повествования: «Основное и зачастую единственное средство создания этого образа присущая ему речевая манера, за которой просматривается определенный характер, способ мышления, мировоззрение» [Есин, 2003, с. 120]. Отмечу, что автор, подчеркивая простоту своего героя (пять классов образования, некую закомплексованность из-за отсутствия волос на голове, социальный статус пастуха), не делает его фольклорно-прямолинейным или стандартно наивным. Зиедулла остро воспринимает мир, но выборочно его оценивает. Автор создает его речь (лингвостилистическая самохарактеристика) достаточно образной, экспрессивной, хотя структура фразы проста. Тагай Мурад избегает использования сложных синтаксических конструкций, чтобы не разрушить имитацию живой речи пастуха. Короткие фразы, двучленные предложения, глаголы-сказуемые в личной форме – эти синтаксические конструкции также вносят лепту в динамику повествования, образуя своеобразный темп речи. В рамках данной статьи интересно проследить, как вырисовывается национальный характер в полном объеме его психологических переживаний. А поскольку «всякая культура национальна, ее национальный характер выражен в языке посредством особого видения мира, языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма» [Маслова, 2004, с. 13], то и специфика языка «повествователя» есть объект наблюдения. Язык повести насыщен тропами, но не избыточно, а предельно метко. Поэтому можно согласиться с В.А. Масловой, которая пишет: «Специфическое национальное видение мира отражается в семантике

сравнений» [Маслова, 2004, с. 146]. Зиедулла не обладает особым интеллектом, но он «умеет» образно представить предмет, подчеркивая отношение к нему. Сравнения в повести Тагай Мурада «Сумерки, когда заржал конь» имеют несколько подвидов, отражающие позитив и негатив взаимоотношений, ментальность и даже «необразованность» героя. Так, гордясь урожаем кишмиша, Зиедулла оценит сразу все: цвет, качество, район производства (только в Сурхандарье делают желтый кишмиш – М.Б.): *«желтый, как самый солнечный день лета»* [Тагай Мурад, 2008, с. 44]. Отношение к распорядителю улака выражено в сравнении: *«Лицо напоминало горячую лепешку из тандыра»* [Тагай Мурад, 2008, с. 17]. Горе колхозников, коней которых забрали на мясо, сформулировано в метком и объемном сравнении: *«Наездники поникли подобно парнишкам, у которых не вернулись с войны их молочные братья»* [Тагай Мурад, 2008, с. 35]. Подчеркну, что подобные сравнения выражают и национальное, и экспрессивное, создавая еще одну черту характера Зиедуллы. Все, что касается улака, приобретает иной тон повествования, изменяется ритм, возникает полифонизм голосов (имитация сопутствующих криков), но и «эпичность, гиперболизм в сравнениях». Так, кони несутся, *«хвосты распушили, подобно павлиньим перьям»*. Отмечу, что подобная смена в повествовании не разрушает психологический образ Зиедуллы, а подчеркивает как бы два личностных начала: плешивого пастуха и успешного участника улака. Образ Зиедуллы создается автором вербальными и невербальными средствами. Средства кинесики (жесты, мимика, поза) используются Тагаем Мурадом весьма продуктивно, создавая определенную ситуацию. Психологическое состояние героя во время улака выражается, во-первых, в единении действий наездника и Тарлана: *«Застыл.. подняв передние ноги...бросился вниз.. по моему телу пробежала дрожь...глаза выскочили из орбит»* [Тагай Мурад, 2008, с. 16]. Во-вторых, в изменении темпа повествовании, речь как бы «взахлеб». Реакция окружающих на полет коня с такой кручи так же есть «кирпичек» для создания психологического состояния героя и оценки коня: *«метафора - у коня два сердца.. Если такого отважного коня даже золотом осыпешь, все равно в долгу перед ним»* [Тагай Мурад, 2008, с. 17]. Нельзя ожидать после такой сцены каких-то комментариев Зиедуллы по поводу своего состояния. Зато автор подчеркивает это в умиротворенной позе героя: *«Состязание я смотрел лежа, облокотясь на локоть»* [Тагай Мурад, 2008, с. 17]. Невербальное поведение как бы вплетено во внутренний мир личности. Поэтому можно согласиться с В.А. Лабунской, которая пишет: «Невербальное поведение – это внешняя форма существования

и проявления психического мира личности. Выделение общих элементов, компонентов невербального поведения, определение его функций позволяют создать культурно-специфическую типологию невербального поведения» [Лабунская, 1989, с. 15]. Тагай Мурад создает несколько удивительных объемных ситуаций, которые раскрывают психологическое состояние Зиедуллы, не разрушая его целостный образ. Можно считать, что сценка в самолете еще одно любопытное сравнение, подчеркивающее простоту и наивность пастуха, впервые летящего на самолете. Так, облака внизу он воспринимает как *«горы хлопка»*, что вполне традиционно. Но автор заставляет его удивиться поведением пассажиров, *«которые подзывали указательным пальцем девушку»*, прося пить. Стюардесса воспринимается им как *«девушка, бежащая посредине самолета точно аист»* [Тагай Мурад, 2008, с. 37]. В этом сравнении заложено уже очень многое. Зиедулла впервые видит девушку в короткой юбке, походка которой регламентирована узким проходом, - отсюда такое восприятие, закрепляемое только на национальном уровне. А далее автор использует приемы кинесики, чтобы подчеркнуть всю палитру психологического состояния человека, впервые ощутившего себя пассажиром, а значит, его поведенческий рисунок должен соответствовать этому статусу: *«оглянулся вокруг... подозвал пальцем...кивнул благосклонно... выпятив грудь, Я развалился в кресле»* [Тагай Мурад, 2008, с. 37]. Далее автору необходимо закрепить эти ощущения героя в привычной обстановке, поэтому Тагай Мурад соединяет описание психологического состояния Зиедуллы, выраженное соответственно *«сейчас лопну»* с диалогом (Мурад - человек такого же уровня, ментальности, который должен понять всю полноту чувств). Диалогу предшествует прогулка по улицам кишлака, во время которой никто не замечает той глубокой перемены от поездки в Москву. Автор усиливает национальное в поведенческом рисунке героя (спрашивает соседей о здоровье, сунул за пазуху горсть конфет), поэтому диалог дан в «чистом виде», обнажая даже парадокс: Москва – колхоз «Москва». Восторг Мурада и самодовольство Зиедуллы сделан автором цитатно: *«Ух-х, сучий сын, быть тебе Гагариным. - Кем? Фи-и, Гагарин...Кто твой Гагарин?.. Я летел больше того времени, за которое можно 4 раза плов сделать»* [Тагай Мурад, 2008, с. 38]. Понятно, что данный диалог содержит и скрытую мимику, и определенную интонацию. Сравнение в данном отрывке (чисто национальное) усиливается следующими, которые уже и национальны и подчеркивают «интеллектуальный уровень» героя: *«Самолет, оказывается не такой маленький как бумажный змей. Внутри он как Обишрская про-*

моина» [Тагай Мурад, 2008, с. 39]. Думается, что такой комплекс можно считать психологической доминантой автора в создании национального характера.

Примечательно, что выбранная форма повествования (которая сначала воспринимается несколько натянуто-эпической – М.Б.) как бы работает сама на себя, организуя речевую стихию, создавая точное ощущение человека, занимающего улаком. Применительно к данному повествованию можно процитировать: «Язык не средство описания культуры, а прежде всего знаковая квинтэссенция самой культуры» [Лабунская, 1989, с. 35]. Если в обыкновенной жизни герой не проявляется (кроме сцен, когда он выступает борцом за справедливость), то сцены улака выписываются Тагаем Мурадом рельефно, во всем комплексе вербального и невербального. Отмечу, что в повести отсутствуют портреты людей, вскользь портреты о жене, сыне, матери, но есть целая галерея лошадей – участниц сражений. Эти портреты – есть примеры экспрессивной речи (целая система эпитетов, сравнений). Тарлан описывается и как дастанный конь: *«резвясь, взбрыкивает...подпрыгивая до небес»*, и с позиций национального ощущения: *«Сивый конь, как отбеленная бязь»*. Тагай Мурад создает психологическое состояние коня перед каждым выступлением, которое чутко воспринимается его хозяином. От героя невозможно «требовать» самоанализа, но в повести удивительно тонко создается анализ поведенческого рисунка заболевшего коня, коня не в духе: *«Наш Тарлан всю ночь фыркал, я был обеспокоен»* [Тагай Мурад, 2008, с. 10]. Тагай Мурад показывает, как всякий раз Зиедулла переводит внешние проявления в психологическое состояние: *«Разбрасывал всю дорогу кизяк. Вот в какое горе погрузился конь»* [Тагай Мурад, 2008, с. 40]. Тандем человека с конем особенно интересно проявляется в сценах борьбы. Тагай Мурад создает звуковой фон, имитацию криков болельщиков, энергетика игры передается вербально: «Ну-у-у... Но-оо. Хватай. Тащи» и в профессиональных жестах наездника, и в синхронности действий, в повторении команд чутким конем. Состояние опьянения от соперничества, профессиональное умение, удачный поворот дела, честное судейство – все передано в жестах, позе на коне и четкой констатации действий коня-человека: *«сильно накренился... придвинул к груди, придавил тушу локтем»* [Тагай Мурад, 2008, с. 23]. Особой деталью в данном контексте становится нагайка, которая подчеркивает индивидуальность внешних проявлений и взаимоотношений: *«только занес плетку над головой коня»* или *«вертя плеткой»*.. Во время улака плетка есть вектор всех этапов борьбы за тушу – *«зажал плетку под мыш-*

кой», а когда нечестный распорядитель лишил тушу ног, за которые можно цеплять, вершина мастерства проявляется в том, что Зиедулла «сжал зубами рукоять плетки». Из большого количества определений функции детали, хочется выделить следующее: «Деталь...выступает материальным репрезентантом фактов и процессов, не ограничивающихся упомянутыми поверхностными признаками <...> В детали имеет место не замещение, а разворот, раскрытие» [Кухаренко, 1988, с. 110–111]. К примеру, реплика Зиедуллы по поводу «рослых» девушек из Иргали: «Самая маленькая носит калоши 6 размера» становится понятной в контексте его рассуждений о лошадях и является чисто национальной категорией. Такой же национальный оттенок приобретают некоторые позы, отражающие психологическое состояние. Подчеркнутое смирение выражается в позе: «Точно как мираб сложил руки на животе» [Тагай Мурад, 2008, с. 37]. Отмечу, что внимание к поведенческому рисунку, к выразительной позе можно считать стилиевой доминантой прозы Тагая Мурада. В повести почти нет прямых характеристик персонажей, но есть точный рисунок, или абрис его позы, жеста. Так, бездетный Джура-бобо, «имя которого почти не произносилось людьми, ...на свадьбах глаз не поднимал выше скатерти» [Тагай Мурад, 2008, с. 26]. Итак, деталь становится «стержнем психологической характеристики» [Добин, 1981, с. 407]. В повести Тагая Мурада «Сумерки, когда заржал конь» деталь становится «микрообразом мира», вырастая до картины национального мира. Автор использует потенциальную силу детали в контексте, способной активизировать восприятие, побудить читателя к сотворчеству, дать простор его ассоциативному воображению. Комплекс вербального и невербального (психологические доминанты) ведет к созданию глубоко мотивированного национального характера героя – простого сурхандарьинского пастуха Зиедуллы-плешивого.

Литература

Добин Е.С. Сюжет и действительность. Искусство детали. Л, 1981.

Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. М, 2003.

Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М, 1988.

Лабунская В.А. Невербальное поведение. Ростов, 1989.

Маслова В.А. Лингвокультурология. М,2004.

Мурад Тагай. Избранные произведения. Повести. Сумерки, когда заржал конь.

Ташкент, 2008.

ОНТОГЕНЕЗ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: РЕЧЕЖАНРОВЫЙ АСПЕКТ

О.В. Кощеева

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, онтогенез, речевой жанр, рассказ.

Keywords: communicative competence, ontogenesis, speech genre, story.

Актуальность изучения процесса становления коммуникативной компетенции в онтогенезе для современной онтопсихолингвистики неоспорима. Как отмечает С.Н. Цейтлин, «лингвистика детской речи – наука и молодая, и древняя одновременно. Интерес к тому, как ребенок говорит, не ослабевает в течение столетий» [Цейтлин, 2000, с. 7]. Тем не менее, особую значимость исследования речи ребенка приобрели именно в последние десятилетия, что обусловлено общей антропоцентрической направленностью отечественного языкознания. Различные аспекты данной проблематики отражены в работах Г.И. Богина, И.Н. Горелова, Н.И. Лепской, О.Б. Сиротининой, К.Ф. Седова, С.Н. Цейтлин и других авторов. Активное развитие психолингвоперсологии и стремление ученых выявить своеобразие речевых портретов отдельно взятых личностей и их отличия от других индивидов неизбежно ставит перед исследователями вопрос о специфике формирования коммуникативной компетенции в онтогенезе (см. работы Н.Д. Голева, Т.И. Киркинской, Н.В. Сайковой). Поскольку понятие коммуникативной компетенции довольно объемно и охватывает сразу несколько взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на друга структур, создание динамической модели коммуникативной компетенции и полноценной модели речевого онтогенеза не может быть осуществлено силами одной только лингвистической науки. Поэтому комплексная разработка данного вопроса является делом будущего.

Материалом для выявления особенностей формирования речежанровой и коммуникативной компетенции личности в процессе онтогенеза послужили устные рассказы более чем пятидесяти детей дошкольного (4–5 лет) и семидесяти детей младшего школьного возраста (9–10 лет), в которых особое внимание уделялось анализу прагмалингвистического компонента. Исследование речевого жанра «рассказ» проводилось посредством наблюдения за спонтанной речью испытуемых и с помощью специально организованных экспериментов (состав-

ление рассказа по картинке, заданной теме, предложенному началу и окончанию и др.) и составляло один из основных аспектов построения целостной модели формирования речевых компетенций в онтогенезе.

По своей сущности рассказ представляет собой жанр разговорной речи, имеющий информативный монологический характер. Рассказ достаточно наглядно раскрывает индивидуальные особенности речевого портрета говорящего и служит ярким показателем степени сформированности его коммуникативной и жанровой компетенции. Рассказ впервые начинает появляться в речи детей 2–3-летнего возраста и имеет изначально диалогическую форму. Ему присуща общая стратегия наличия коммуникативного намерения передать окружающим ту или иную информацию. Конечно же, ребенок указанного возраста самостоятельно справиться с этой задачей еще не способен. Ему необходимы направляющие, наводящие вопросы взрослых.

Рассмотрим фрагмент рассказа трехлетней девочки о покупке новой куклы:

Ребенок: – А мне сегодня мама куклу новую купила//

Взрослый: – Красивую?//

Ребенок: – Да// Она такая/ в розовом платье// еще и бантик/ коляска есть// Я ее спать укладываю// Баю-бай// Вот так (показывает)//

Взрослый: – А что она у тебя умеет делать?//

Ребенок: – Она плакать может// Кричит/ если ее не покорить//...

Ребенок активно сопровождает свои высказывания жестами, мимикой и другими невербальными компонентами общения. Его рассказ строится на репрезентативно-иконической стратегии передачи информации и представляет собой набор отдельных речевых актов или субжанров. Он характеризуется общей незавершенностью и разорванностью отдельных компонентов.

В младшем и среднем дошкольном возрасте дети могут рассказывать о различных объектах, событиях, произошедших в их жизни, сопровождать рассказом игровые и другие действия. Особое место занимают так называемые рассказы-фантазии, которые особенно часто используются детьми в возрасте четырех – пяти лет при играх «с самим собой», гораздо реже встречаются на более поздних этапах развития и практически полностью исчезают к началу школьного обучения.

Рассказ-фантазия часто выступает в составе игрового гипержанра, у младшего дошкольника он связан с конкретной ситуацией или чрезвычайно интересующими ребенка объектами окружающего мира. При-

ведем пример такого рассказа четырехлетнего мальчика, который соорудил из всех имеющихся в доме одеял, подушек и покрывал корабль и «плывет» на нем:

– Колабль пльвет- пльвет по бусующему молю// Бабах/ Влезался в экскаатол// Колесо отвалилось/ и луль отвалился// И фалы/ и бампел/, и колесо// Бабах// Ай-яй-яй- сказали экскаатолу// Как зе мы тель поедем?//

Характерным для такого рассказа является одушевление используемых объектов, активное применение звукоизобразительных средств, и, как ни странно, гораздо ярче выраженная последовательность и целостность структурных элементов дискурса, что, по нашему мнению, связано с непосредственным «включением» самого ребенка в воображаемую им ситуацию и конкретное ее вербальное оформление. Данный жанр реализуется в общей стратегии потребности ребенка в вербальном акте, так как эти на удивление длинные монологи в большинстве случаев не имеют адресата и осуществляются в процессе игры с самим собой.

К младшему школьному возрасту наблюдается серьезный прогресс в овладении детьми речевым жанром рассказа, что связано с переходом на новую ступень социального развития. И хотя он еще далек от совершенства, дети с удовольствием и много рассказывают о себе, своих игрушках, домашних питомцах, интересных случаях и путешествиях.

Представим рассказ ученицы третьего класса (9 лет) о прогулке в лесу:

– Вчера мы с нашим тренером ездили в поход на Кумысную поляну. В дороге мы делали остановку и все собирали цветы// Когда мы доехали на велосипедах до самой Кумысной поляны / все достали свои сладости и соки// У нас начался пир// Настя так смешно прыгала на пеньке/ что Ромка чуть не подавился от смеха// Мы много фотографировались// На обратной дороге мы сочиняли песенки и кричали на весь лес// Все было очень здорово//

Таким образом, рассказ младшего школьника уже характеризуется связностью и последовательностью изложения информации, использованием не только репрезентативной, но и аналитической стратегии построения дискурса. Целью такого рассказа является желание ребенка поделиться яркими впечатлениями, и делает он это достаточно эмоционально, активно используя жесты, мимику, иногда звукоизобразительные элементы.

В целом, отличия между рассказами детей младшего дошкольного и младшего школьного возрастов довольно существенны и характеризуются разной формой построения дискурса (диалог – монолог), неодинаковыми целевыми установками и, конечно же, различным набором речевых средств и стратегиями передачи информации.

Рассмотрим особенности прагмалингвистического компонента рассказов детей различного возраста. Как известно, термин «прагматика» был введен в науку американским ученым Ч. Моррисом и в его понимании обозначал область семиотики, которая изучает поведение языковых единиц в реальных процессах коммуникации применительно к участникам общения – субъекту и адресату речи. В настоящее время лингвистическая прагматика является одним из ведущих направлений антропоцентрического языкознания и данной области знания посвящено множество научных исследовательских работ (см., например: [Артунова, 1999; Имплицитность в языке и речи, 1999; Кибрик, 1992; Падучева, 1996; Сухих, 1998; Формановская, 1998; Шмелев, 2002 и др.]).

Вслед за К.Ф. Седовым, в прагмалингвистическом исследовании дискурса мы будем ориентированы на выявление особенностей авторского присутствия и фактор развернутости на слушателя. Как указывает К.Ф. Седов, «все три компонента прагматической структуры текста – отражаемая в речи действительность, субъективно-авторское начало, потенциал восприятия – присутствуют в структуре дискурса во взаимосвязи [Седов, 2004, с. 31].

Для анализа уровня сформированности кореферентности у детей вышеуказанных возрастных групп нами использовались диктофонные записи рассказов о мультфильмах, событиях из собственной жизни, пересказ и описание сюжетных картинок в условиях непосредственного общения с ребенком, а также скрытая запись свободного общения детей в игровой деятельности.

Для выявления динамики развития текстовой кореференции в процессе онтогенеза нами будет рассматриваться способность детей в роли автора на протяжении всего рассказа сохранять «тождество» объекта изображения в сознании слушателя. При достаточном уровне развития коммуникативной компетенции языковая личность не испытывает затруднений в осуществлении кореференции и строит свой дискурс таким образом, что слушатель на протяжении всего рассказа не затрудняется в идентификации изображаемых действующих лиц. Чем ниже уровень сформированности этого умения, тем чаще в общении возникает так называемый «референциальный конфликт» [Седов, 2004,

с. 150], характеризующийся затруднениями, а иногда и полной невозможностью со стороны адресата понять о каком действующем лице рассказывает автор.

Как указывает Е.В. Падучева, «исследование, посвященное референции в естественном языке с неизбежностью обращается в исследование о местоимениях. Действительно, местоимение и вообще местоименные элементы языка – это главное средство референции» [Падучева, 1985, с. 10]. Поэтому в рассказах детей различных возрастных групп мы также обратим особое внимание на характер использования и количество местоимений, применяемых ими в устных дискурсах.

Приведем фрагменты рассказов детей в возрасте 4–5 лет о своих любимых мультипликационных фильмах.

– *Жил Алеша Попович// У него меч во такой был// А дед маленький совсем// Он его учил// А он ба-бах/ ба-бах// Только дрался...*

– *...А он/ ха-ха/ Я самый сильный// А тут он бам ему по голове// И он упал//*

– *...И шли динозавры долго// Тио никак не мог найти свою маму// Он заплакал// А они сказали ему/ что она просто там далеко// Потом она побежала//...*

Как наглядно видно из примеров, устные рассказы детей 4–5-летнего возраста избылируют местоимениями, что, в свою очередь, приводит к нарушению адекватности смыслового восприятия. Почти полное отсутствие заботы авторов о возможности смыслового восприятия их дискурсов постоянно приводит к референциальным конфликтам. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в попытке пересказа сказки С. Михалкова «Заяц – симулянт»:

– *Шел медведь по лесу// Бах зайцу на лапу// Завопил// Искалечил/ а теперь голодом моришь// Хочу сладких груш с медом// идет он по лесу//... Тут лиса// Куда Миша такой озабоченный// Пошли они вместе// А он как увидел/ прыг с кровати/ и убежал в лес//*

Даже в экспериментах с опорой на наглядность, когда детям предлагалось составить рассказ по сюжетной картинке и серии сюжетных картинок, количество местоимений в рассказах испытуемых данной группы не уменьшилось, а наоборот, увеличилось.

– *Он ей не дал ее// У нее она совсем отломалась// Он забрал ее карандаши и стерку// И обижается// Что он обидел меня// Я ему лучшая подруга// Ему просто захотелось одному немножко поделаться//*

– *Он спал под деревом// Они там нашли его// Ежик пьет молоко// Он колючий//*

Примеры аналогичных рассказов детей 9–10-летнего возраста свидетельствуют о значительном прогрессе в умении реализовывать текстовую кореференцию, что отражается в резком снижении частотности применения местоимений и большей заботой о возможности понимания рассказа слушателем.

– Девочка обиделась на мальчика/ потому что он отобрал у нее фломастеры// Она села в сторону и перестала играть с ним//

– Жил-был заяц// Наступил однажды медведь ему на лапу// Заволил заяц/ как я теперь ходить буду// Жалко стало медведю зайца/ отнес он его к себе домой и стал сладкой морковкой кормить// А когда медведь уходил из дома/ заяц/ который до этого был больным/ начинал прыгать и распевать песни//...

– Мальчики гуляли по лесу// Вдруг по кустом они увидели ежика// Он спал// Мальчик/ у которого была шапка/ взял ежика и понес его домой// дети дали ежу молока//

Для рассказов детей в возрасте 9–10 лет оказалось характерным использование сложных предложений с придаточными определительными, применяемых для создания у слушателя более точного представления о том, на какой именно объект или предмет описания указывает автор.

Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем сделать выводы о том, что становление речевого жанра рассказа в процессе онтогенеза происходит в направлении от диалогической и смешанной форм к монологическим способам построения дискурса, изменении стратегий и способов передачи информации. Кроме закономерного процесса усложнения указанного речевого жанра, в речи детей были отмечены такие разновидности рассказов, которые применялись в младшем и среднем дошкольном возрасте и полностью отсутствовали в устных дискурсах детей на более поздних этапах развития (рассказы–фантазии). Эволюция прагмалингвистического компонента коммуникативной компетенции в детском возрасте на примере кореферентности проявлялась в постепенном уменьшении количества местоимений и снижением вероятности возникновения референциальных конфликтов. Рассмотренный феномен представляет лишь один из многочисленных аспектов, отражающих закономерности и специфику становления речевой культуры личности в процессе онтогенеза и потому не может рассматриваться в качестве единичного и универсального показателя уровня сформированности коммуникативной компетенции ребенка. Еще раз отметим, что создание комплексной модели развития коммуникативной компетенции в онтогенезе требует не только всесто-

ронней лингвистической разработки данного феномена, но и внимания представителей других отраслей знаний.

Литература

- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
- Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16.
- Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов : автореф. дис. ...докт. филол. наук. Л., 1984.
- ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
- Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2001.
- Имплицитность в языке и речи. М., 1999.
- Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке). М., 1992.
- Очерки по лингвистической детерминации и дериватологии русского языка: Коллективная монография / Под ред. Н.Д. Голева. Барнаул, 1998.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
- Седов К.Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции. М., 2004.
- Сиротинина О.Б. Устная речь и типы речевых культур // Русистика сегодня. 1995. № 4.
- Сухих С.А. Прагмалингвистическое измерение коммуникативного процесса : автореф. дис. ...докт. филол. наук. Краснодар, 1998.
- Формановская Н.И. Коммуникативно-прагматические аспекты единиц общения. М., 1998.
- Цейтлин С.Н. Язык и ребенок : Лингвистика детской речи. М., 2000.
- Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ПОЛИКОДОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ ПРОШЛОГО СОВРЕМЕННЫМИ НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА

Т.С. Бережная

Ключевые слова: психолингвистика, восприятие, реципиент, поликодовый текст, семантический дифференциал.

Keywords: psycholinguistics, perception, recipient, polycode text, semantic differential.

В данной статье описан эксперимент, посвященный исследованию механизмов восприятия современными носителями языка полного рекламного поликодового текста, а также его составляющих (изображения и вербального текста) на материале рекламных плакатов и рекламы в прессе начала XX века. В эксперименте мы использовали технику определения специфики воздействия рекламного текста на носителей языка с использованием метода семантического дифференциала, предложенную А.Г. Сониным и П.Н. Махниним [Сонин, Махнин, 2004, с. 77–91].

Эксперимент проводился для верификации следующих гипотез:

- Активность респондентов при реагировании на рекламные тексты прошлого будет высокой (особенно в части эмоциональной оценки) вследствие специфической особенности рекламы – ориентации на привлечение внимания реципиентов, формирование эмоционального отношения к информации, которую она несет;

- Мы прогнозируем, что поликодовый текст по сравнению с монокодовым текстом рекламы позволит реципиенту лучше и с меньшими когнитивными затратами усвоить его основное содержание ввиду наличия в его составе визуальных и словесных составляющих, оценки по шкалам положительной эмоциональной характеристики текста при демонстрации полного рекламного текста (далее – РТ) будут выше, чем при демонстрации отдельных его составляющих;

- Мы предполагаем, что результаты эксперимента подтвердят наше предположение о неоднородности прагматической ценности составляющих поликодового текста рекламы: изобразительная часть в большей степени формирует эмоциональное отношение к рекламе, вербальный текст в основном несет информативную нагрузку, описывает функциональные характеристики рекламируемых товаров и услуг;

- Плакатная реклама прошлого будет лучше восприниматься современными носителями русского языка, чем реклама в прессе начала XX века в силу особенностей структуры и содержания данных видов рекламы. Плакатная реклама прошлого имеет в своем составе крупное изображение и небольшой по объему вербальный текст, что, на наш взгляд, способствует органичному слиянию составляющих РТ в рамках рекламного плакатного текста (далее – ПТ) и облегчает ее восприятие. Характерными особенностями рекламы в прессе прошлого, как правило, являются объемный вербальный текст, неразборчивый шрифт, обилие сокращений и затемненной лексики, что, мы предполагаем, затрудняет восприятие текста реципиентами.

На начальном этапе работы было проведено пилотажное интервьюирование испытуемых, не принимавших участия в основном эксперименте. Участникам эксперимента предлагалось охарактеризовать предложенный рекламный материал, используя любые языковые средства при его описании.

Наиболее частотные характеристики рекламных текстов, предложенные участниками предварительного анкетирования, были отобраны в качестве шкал для основного эксперимента. Таким образом, для экспериментального изучения восприятия РТ были отобраны следующие десять шкал: «оригинальный», «понятный», «привлекательный», «приятный», «качественный», «убедительный», «завлекающий», «вредный», «вызывающий литературные или фольклорные ассоциации», «бессмысленный».

В основном эксперименте приняли участие 180 информантов. Все участники – студенты и аспиранты вузов города Омска в возрасте от 18 до 30 лет.

В ходе проведения эксперимента всего был использован 31 текст: 21 – рекламы в прессе и 10 – плакатной рекламы. Рекламный материал включал вербальную составляющую и изображение: черно-белое в РТ прессы, цветное – в плакатном РТ. В дальнейшем отобранные тексты подверглись компьютерной обработке в программах Adobe Photoshop и Paint с целью создания недостающего экспериментального материала – отдельных текстов, содержащих либо только вербальную, либо только изобразительную составляющие РТ.

В каждом из двух (на материале рекламы в прессе и плакатной рекламы прошлого) экспериментов участники были включены в одну из трех групп в соответствии с тремя экспериментальными условиями: «вербальная составляющая рекламы», «изобразительная составляющая рекламы», «полный рекламный текст».

Испытуемым было предложено задание, сформулированное следующим образом: «Оцените выраженность ниже перечисленных категорий в предложенных текстах по шкале». Время для ознакомления с экспериментальным материалом не ограничивалось. Перед началом эксперимента в каждой группе был проведен тренинг, позволивший испытуемым уяснить суть предлагаемого им задания.

Анализ данных (1440 ответов, полученных в ходе опроса 180 информантов) проводился на основе сравнения средних показателей между: разными видами текстов (полный РТ, вербальная составляющая, изобразительная составляющая); разными шкалами; разными ви-

дами экспериментального материала – плакатного РТ и РТ прессы прошлого.

Первичные результаты данного эксперимента выявили следующие закономерности: шкалы, выраженные во всех видах экспериментальных текстов – «оригинальный» и «качественный»; три категории («завлекающий», «привлекательный», «понятный») представлены в пяти из шести видов текста; категории «приятный», «убедительный» представлены в четырех из шести видов текстов; категория «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации» представлена три раза; категория «бессмысленный» представлена один раз, а категория «вредный» не выражена вообще.

Анализ по виду текста. Анализ по виду текста состоит в сравнении количества баллов, набранных разными категориями в рамках одного и того же вида текста. Общий анализ (без разделения на виды текста и экспериментальный материал) показал, что наибольшее количество баллов испытуемыми выставляется при оценке категорий «понятный» (66%) и «оригинальный» (67,2%). Наименьшее количество баллов характеризует категории «бессмысленный» (54,9%) и «вредный» (52,6%). Отличия между остальными категориями («завлекающий» (63%), «привлекательный» (63,3%), «качественный» (63,4%), «приятный» (61,5%), «убедительный» (59,6%), «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации» (60,2%)) не являются принципиальными.

Всего выраженных категорий – 39 (65%), невыраженных – 21 (35%), что в основном подтверждает первую гипотезу эксперимента.

Все выраженные категории были отнесены к подгруппам: «сильно выраженный», «выраженный в средней степени» и «слабо выраженный».

Ни одна категория не представлена в максимальной степени. В рекламном тексте прессы слабо выражены категории «убедительный», «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации», не выражены категории «вредный» и «бессмысленный». В плакатном РТ половина категорий выражена слабо («привлекательный», «приятный», «убедительный», «завлекающий», «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации»). Категории «вредный» и «бессмысленный» также не выражены.

Сравнивая степень выраженности категорий в рекламе в прессе прошлого и в плакатном РТ, мы пришли к выводу, что категории «оригинальный», «понятный», «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации», «качественный», «убедительный» сильнее выражены в плакатной рекламе, а категории «привлекательный», «приятный», «за-

влекающий» – в печатном РТ. Но разница не является значительной, результаты разнятся несколькими процентами. Однако тот факт, что шкалы «понятный», «убедительный» все же сильнее выражены при оценке плакатного РТ, говорит в пользу подтверждения четвертой гипотезы.

Дальнейший анализ был направлен на установление отличий между оценками категорий в зависимости от вида текста и вида экспериментального материала.

Анализ вербальной составляющей рекламного текста. В плакатном РТ нет сильно выраженных категорий. В печатном РТ – только одна – «понятный». В обоих видах текстов не выражены категории «вредный» и «бесмысленный», «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации». В плакатной рекламе также не выражены категории «привлекательный» и «приятный», тогда как в печатной рекламе эти категории выражены в средней степени. Остальные категории в двух видах текста выражены в средней степени. Слабо выражены категории «завлекающий» «убедительный» в обоих видах рекламы, а также категория «качественный» на материале рекламы в прессе.

Анализ изобразительной составляющей рекламного текста. При анализе оценок изобразительной составляющей не было выявлено ни одной сильно выраженной категории. Категории «вредный», «убедительный» и «бесмысленный» в оценке обоих видов текстов не проявились. В рекламном тексте в прессе все выраженные категории, кроме «понятный» (слабо выражена), вошли в группу средне выраженных. В плакатном РТ не выражены категории «понятный», «приятный» и «завлекающий». Выраженные категории представлены слабо, только категория «оригинальный» представлена в средней степени.

Полный рекламный текст. При использовании материала рекламы в прессе было обнаружено 7 из 10 выраженных категорий и все – в слабой степени. Не выражены категории «вредный», «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации», «бесмысленный». На материале плакатной рекламы не выражены категории «вредный» и «бесмысленный», слабо выражена категория «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации», остальные категории выражены в средней степени.

Результаты анализа по виду текста.

Относительно плакатной рекламы подтвердилась третья гипотеза – о том, что вербальный текст несет в основном информативную нагрузку, а изображение в большей степени способствует созданию благоприятных эмоций у реципиентов. Шкалы «понятный», «каче-

ственный», «убедительный» были интенсивнее проявлены в вербальной составляющей РТ, а шкала «бессмысленный» – в изобразительной составляющей. Категории эмоционально-эстетической оценки «привлекательный», «оригинальный», «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации» сильнее выражены в изобразительной составляющей.

Результаты, полученные в ходе эксперимента с рекламой в прессе прошлого, частично подтверждают третью гипотезу. Оценки по шкалам «понятный», «убедительный» выше для вербальной части РТ. Категории эмоционально-эстетической оценки «завлекающий», «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации» сильнее проявлены в результатах эксперимента с изобразительной составляющей РТ. Категория отрицательной эмоциональной оценки «вредный» слабее проявлена в характеристиках изобразительной составляющей РТ.

Оценив результаты, полученные в эксперименте с полным рекламным текстом, мы находим подтверждение четвертой гипотезе о том, что плакатный рекламный текст прошлого лучше воспринимается современными носителями языка и вызывает у них больше положительных эмоций, нежели печатный РТ прошлого.

Анализ по виду текста плакатной рекламы.

Категория «оригинальный» выражена в средней степени в отдельных составляющих текста и сильно выражена в полном РТ.

Категория «понятный» не выражена в изобразительной составляющей РТ, средне выражена в вербальной составляющей РТ, и сильно – в полном РТ.

Категория «привлекательный» в изобразительной составляющей выражена слабо, в словесной – не выражена, а в полном РТ представлена в средней степени.

Категория «приятный» в отдельных составляющих РТ не выражена, а в полном РТ представлена в средней степени.

Категория «качественный» в изображении представлена слабо, в вербальной составляющей РТ и полном РТ – в средней степени.

Категории «убедительный» и «завлекающий» в изображении не выявлены, в вербальной составляющей рекламы выражены в слабой степени, а в полном РТ – в средней.

Категория «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации» слабо представлена в изобразительной составляющей и в полном РТ, в вербальной составляющей не появилась.

Категории «вредный» и «бессмысленный» не представлены ни в одном виде текстов.

Анализ по виду текста рекламы в прессе.

Категории «оригинальный», «привлекательный» выражены в средней степени в отдельных составляющих текста и слабо – в полном РТ.

Категория «понятный» слабо выражена в изобразительной составляющей и полном РТ, сильно выражена в словесной составляющей.

Категории «привлекательный», «приятный» в отдельных частях рекламных текстов выражены в средней степени, при демонстрации полного РТ – в слабой.

Категории «качественный», «завлекающий» в изображении представлены средне, в других видах текста – слабо.

Категория «убедительный» выражена в слабой степени в словесной составляющей и полном РТ.

Совсем не выражена категория «бесмысленный».

Категория «завлекающий» в средней степени представлена в изобразительной составляющей РТ, слабо представлена в вербальной части и целом РТ.

Категория «вредный», как и в плакатной рекламе, представлена только в полном РТ в слабой степени.

Категория «вызывающий литературные и фольклорные ассоциации» проявилась только в изобразительной части РТ в средней степени.

Анализ результатов по виду текста в плакатной рекламе и рекламе в прессе прошлого полностью подтверждает вторую выдвинутую нами гипотезу – о том, что полный рекламный текст лучше усваивается респондентами, чем отдельные его составляющие. Причем результаты говорят о том, что это происходит не только на понятийном уровне, но и на уровне формирования положительного эмоционального отношения к рекламе, что также подтверждает вторую гипотезу эксперимента.

Общие выводы.

Результаты эксперимента в большей части подтвердили поставленные нами гипотезы.

Активность респондентов оказалась достаточно выраженной, в оценке рекламных материалов преобладало положительное эмоционально-эстетическое отношение к рекламе, что подтвердило первую гипотезу эксперимента.

Проанализировав результаты эксперимента по виду текста в плакатной рекламе и рекламе в прессе прошлого, мы пришли к выводу о том, что полный рекламный текст лучше и с наименьшими когнитив-

ными затратами усваивается реципиентами по сравнению с его составляющими, предъявляемыми по отдельности, а также вызывает в сознании участников эксперимента больше положительных эмоций. Это заключение полностью подтверждает вторую выдвинутую нами гипотезу.

Также результаты эксперимента, в целом, подтверждают третью гипотезу – о том, что вербальный текст в основном несет информативную нагрузку, а изображение в большей степени способствует созданию благоприятных эмоций у реципиентов.

Оценив результаты, полученные в эксперименте с использованием полных рекламных текстов плакатного РТ и рекламы в прессе, мы пришли к выводу о том, что плакатный рекламный текст прошлого лучше воспринимается современными носителями языка по сравнению с рекламным текстом прессы прошлого, а также вызывает у них больше положительных эмоций. Это подтверждает четвертую гипотезу эксперимента.

Литература

Гуц А.К., Паутова Л.А., Фролова Ю.В. Семантический дифференциал // Математическая социология. Омск, 2003.

Психология и психоанализ рекламы. Личностно-ориентированный подход [Электронный ресурс]. URL: <http://evartist.narod.ru/text14/87.htm>

Сонин А.Г. Понимание поликодовых текстов: когнитивный аспект. М., 2005.

Сонин А.Г., Махнин П.Н. Экспериментальное исследование восприятия изобразительно-вербальных рекламных текстов // Вопросы психолингвистики. М., 2004.

ПОЛЕВЫЕ СВЯЗИ КИТАЙСКИХ НЕДОГОВОРОК-ИНОСКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 吃

И.В. Ахмадулина

Ключевые слова: фразеосемантическое поле, глагол 吃, недоговорки-иносказания, фразеология, семантика.

Keywords: phraseosemantic field, the verb 吃 (to eat), xiehouyu, phraseology, semantics.

Целью данной статьи является систематизация недоговорок-иносказаний китайского языка, содержащих лексему 吃, с помощью метода фразеосемантического поля. В связи с тем, что полевый подход позволяет достаточно полно раскрыть системные связи между языковыми единицами, а также между языковыми явлениями и внеязыковой действительностью, в настоящее время он занимает важное место в лингвистических исследованиях. В применении к китайскому языку данный подход особенно актуален, так как еще не все сферы жизни человека в Китае исследованы с точки зрения теории поля.

Так, в недостаточной степени изучены лексические и фразеологические единицы, связанные с темой питания. В то же время, эта тема занимает важное место в китайской культуре, отражаясь, в том числе, в лексике и фразеологии языка. В китайском языке наблюдается большое количество недоговорок-иносказаний, имеющих в своем составе лексический компонент 吃(есть). Все вышеперечисленные факторы и обуславливают выбор основного метода и материала исследования.

Методом сплошной выборки из Систематического словаря общеупотребительных недоговорок-иносказаний [常用歇后语分类词典, 2006] отобрано 140 фразеологических единиц.

На основе компонентного анализа все ФЕ распределены по 17 фразеосемантическим полям (ФСП), в составе которых, как правило, выделяется несколько микрополей. Распределение ФЕ по микрополям произведено на основе дифференциальных признаков. Ниже приводится система ФСП с примерами.

1. Умственная деятельность (6 ФЕ):

1.1. Понимание (4 ФЕ).

乌龟吃萤火虫 - 肚里明白 (Досл.: «Черепашка съела светлячка – в животе посветлело» - Все стало понятно).

1.2. Запоминание (2 ФЕ).

老鼠啃书 - 字字句句往肚里吃 (Досл.: «Крыса грызет книгу – съедает слово за словом, предложение за предложением» - Запечатлеть в сердце каждое слово).

2. Физическая деятельность (28 ФЕ):

2.1. Способ осуществления (6 ФЕ).

吃笋子剥皮 - 层层来 (Досл.: «Есть бамбуковый росток, обдирая кожуру – слой за слоем» - Осуществлять дело по порядку, шаг за шагом).

2.2. Свойства (1 ФЕ).

小猫吃小鱼 - 有头有尾 (Досл.: «Котенок ест рыбку – есть голова, есть хвост» - У любого дела ест начало и конец).

2.3. Стадия выполнения (1 ФЕ).

大年初一吃饺子 - 之灯下过 (Досл.: «В первый день нового года есть пельмени – [нужно] лишь дожидаться, [пока][их] опустят в кастрюлю» - Для осуществления дела уже все готово, нужно только к нему приступить).

2.4. Легкость (2 ФЕ).

张飞吃吃豆芽 - 小菜一盘 (Досл.: «Чжан Фэй ест бобовые ростки – тарелка закусок» - Самое простое дело).

2.5. Сложность осуществления (3 ФЕ).

老虎吃天 - 不知从哪下嘴 (Досл.: «Тигр ест небо – не знает, с какой стороны закрыть рот» - Дело настолько трудное, что непонятно, как за него взяться).

2.6. Невозможность осуществления (4 ФЕ).

墙上画烙饼 - 能看不能吃 (Досл.: «На стене нарисована печеная лепешка – можно смотреть, нельзя съесть» - То, о чем идет речь, звучит хорошо, но невыполнимо).

2.7. Результат (3 ФЕ).

Большую часть данного микрополя составляет субполе «Отрицательный результат»:

猴吃核桃 - 满砸 (Досл.: «Обезьяна ест грецкие орехи – все разбила» - Все испортить).

2.8. Цель (1 ФЕ).

老母鸡不吃白大米 - 喂 (为) 啥 (Досл.: «Курица не ест белый рис – кого кормишь (ради чего)?» - Справляться о причине или цели какого-либо дела).

2.9. Род (1 ФЕ).

属鸡的 - 专靠在地里刨食吃 (Досл.: «Принадлежащие куриному роду – питаются тем, что [находится] в земле» - Жить за счет земледелия).

2.10. Неспособность выполнения (3 ФЕ).

猪八戒进厨房 - 会吃不会干 (Досл.: «Чжу Бацзе вошел в кухню – может есть, не может работать» - О человеке, не умеющем работать).

2.11. Отношение (2 ФЕ).

马勺上的苍蝇 - 混饭吃 (Досл.: «Муха в поварешке – живет нахлебником» - Жить сегодняшним днем или относиться к делу небрежно).

2.12. Отсутствие (1 ФЕ).

两个肩膀扛着一张嘴 - 净等吃 (Досл.: «Два плеча несут рот – [он] только еду ждет» - Сидеть на всем готовом, не работать, а получать).

3. Речь, слова [12 ФЕ]:

Наиболее явно в данном поле выделяется микрополе «Невозможно высказать» (3 ФЕ):

Например, 刮大风吃炒面 - 张不开嘴 (Досл.: «На сильном ветру есть жареную лапшу - рот не открыть»). - Стесняться заговорить).

Остальные ФЕ в этом поле раскрывают различные характеристики речи. Например: 老头吃糖 - 越扯越长 (Досл.: Старик ест [солодовый] сахар - чем сильнее тянет (болтает), тем длиннее - Быть красноречивым).

4. Качества и свойства человека (24 ФЕ).

Это поле образовано следующими микрополями:

4.1. Отсутствие внешнего проявления (1 ФЕ):

吃了磨刀水 - 锈 (秀) 气在内 (Досл.: «Выпил воду для заточки ножей - ржавчина (выдающиеся качества) оказалась внутри» - О человеке умном и сообразительном, обладающим настоящим мастерством, но не проявляющем эти качества).

4.2. Бесстрашие (1):

患了病不吃药 - 仗着死上哪 (Досл.: «Заболев, не пить лекарство - борясь со смертью, подниматься выше» - Не отступать перед смертью, не бояться пожертвовать жизнью).

4.3. Плохая репутация (2 ФЕ):

老虎不吃人 - 只是坏了名色 (Досл.: «Тигр не ест людей - только репутация испорчена» - Получить незаслуженно плохую репутацию).

4.4. Внешний вид-содержание (несоответствие) (6 ФЕ):

豆芽子长一方高 - 也是个吃菜货 (Досл.: «Бобовые ростки выросли высотой с дом - тоже [всего лишь] продукт питания» - Человек на первый взгляд внушитель, но на самом деле никчемный).

4.5. Непослушание (1 ФЕ):

狗啃骨头 - 天生喜欢吃硬的 (Досл.: «Собака грызет кости - от природы любит есть твердое» - Человек не слушается, пока не подвергнется наказанию).

4.6. Отсутствие положительных качеств, бесполезность (2 ФЕ):

卖烧饼的不带干粮 - 吃货 (Досл.: «Продающий печенье лепешки не взял сухой паек - есть [свой] товар» - О ни на что не годном человеке).

4.7. Склонность вмешиваться в чужие дела (1 ФЕ):

吃河水长大的 - 管得宽 (Досл.: «Выросший на речной воде - вмешивается «широко» - О человеке, который любит вмешиваться в чужие дела).

4.8. Бесстыдство (2 ФЕ):

吃一百个黄豆 - 不知腥 (Досл.: «Съесть 100 соевых бобов – не чувствовать вони» - Не знать стыда).

4.9. Жадность (1 ФЕ):

母猪吃菜园 - 吃了又回头 (Досл.: «Свинья объедает огород – съела и снова возвращается» - Безмерно жадный человек, поживившись за чужой счет, может прийти еще раз).

4.10. Придирчивость (1 ФЕ):

一根筷子吃莲菜 - 挑眼 (Досл.: «Одной палочкой есть корневище лотоса – прокальвать» - Нарочно придираться к недостаткам).

4.11. Аморальность (1 ФЕ):

墨水吃到肚子里 - 一身透黑 (Досл.: «Съел чернила – все тело почернело» - Человек, испорченный до мозга костей).

4.12. Жестокость (2 ФЕ):

吃了枯炭 - 黑了心 (Досл.: «Съел засохший древесный уголь – сердце почернело» - Бессердечный, жестокий, беспощадный).

4.13. Хитрость (1 ФЕ):

吃秦椒长大的水晶猴子 - 不光刁滑, 肚里还辣 (Досл.: «Выросшая на перце хрустальная обезьяна – не только хитрая, еще и острая в животе (беспощадная)» - Человек и хитрый, и жестокий).

4.14. Назойливость (1 ФЕ):

黄鼠狼咬住鸡咽喉 - 吃定了 (Досл.: «Хорек схватил курицу за горло – непременно съест» - О человеке, не оставляющем в покое другого ради получения выгоды).

4.15. Слабость (2 ФЕ):

吃豆腐长大的 - 腿(忒)软 (Досл.: «Выросший на доуфу – ноги (слишком) слабые» - Слишком слабый, беспомощный).

Интересно отметить, что большинство качеств и свойств человека, представленных данными ФЕ, являются отрицательными. Это можно объяснить тем, что в обществе нормой считается обладание положительными качествами. Отрицательные же качества рассматриваются как аномалия. В связи с этим, для их порицания создано намного больше фразеологических единиц.

5. Воля (2 ФЕ).

В это поле вошли лишь две ФЕ:

吃了扁担 - 横了肠子啦 (Досл.: «Съел коромысло – распрямил кишечник». – Принять твердое решение, несмотря ни на что).

王八吃秤砣 - 铁了心 (Досл.: «Черепашка съела гирю – сердце стало железным». - Принять твердое решение и не передумать).

6. Желание (4 ФЕ).

Данное ФСП также образовано небольшим количеством ФЕ.

Например, 地栗子连皮吃 – 不啃 (肯) (Досл.: «Есть земляной каштан вместе с кожурой – не разгрызешь» - Не желать, не хотеть, неохотно).

7. Состояние духа (13 ФЕ).

7.1. Приподнятое настроение (1 ФЕ): 孙猴子吃仙桃 – 美极了 (Досл.: «Обезьяна Сунь ест райские персики – прекрасно» - Очень хорошо).

7.2. Волнение (1 ФЕ): 猴吃芥末- 干瞪眼 (Досл.: «Обезьяна съела горчицу – хлопает глазами» - Испытывать волнение в безвыходной ситуации).

7.3. Смущение (1 ФЕ): 吃辣椒又挨耳光 – 内外发烧 (Досл.: «Съесть перец и получить пощечину – и внутри, и снаружи горит» - Быть в крайнем смущении).

7.4. Подавленность (3 ФЕ): 腊月天吃冰棍 – 从肚子里往外放冷气 (Досл.: «В декабрьский день съесть эскимо – из живота наружу выпустить холодный воздух» - Подавленное настроение из-за неудачи).

7.5. Удивление (1 ФЕ): 猴吃辣椒 – 直了眼儿 (Досл.: «Обезьяна съела перец – вытаращила глаза» - Удивление, страх по причине неожиданной ситуации).

7.6. Страх (2 ФЕ): 小孩吃泡泡糖 – 吞吞吐吐 (Досл.: «Ребенок жует жевательную резинку – проглатывает и выплевывает» - Иметь опасения идеологического характера, но не сметь их высказать).

7.7. Гнев (1 ФЕ): 哑巴吃蝎子 – 暗忍了 (Досл.: «Немой съел скорпиона – молча терпит» - Незаметно сдерживать гнев, не дать ему проявиться).

7.8. Замешательство (1 ФЕ): 吃浆糊长大的 – 迷住了心窍 (Досл.: «Выросший на клее – сердце измазано [клеем]» - Человек находится в замешательстве, неясно видит действительность).

7.9. Подозрение, сомнение (1 ФЕ): 吃了土蚯蚓 – 一片泥 (疑) 心 (Досл.: «Съел дождевого червя – кусок грязи (подозрение)» - Подозревать, сомневаться).

7.10. Стеснение (1 ФЕ): 刮大风吃炒面 – 张不开嘴 (Досл.: «На сильном ветру есть жареную лапшу – рот не открыть» - Стесняться заговорить).

7.11. Сложность чувств (1 ФЕ): 吃了一个青梅子 – 又是新鲜又是酸 (Досл.: «Съел зеленый абрикос – и свежий, и кислый» - Сложное человеческое чувство: и диковинно, и неприятно).

8. Физическое состояние (1 ФЕ).

В данное поле входит лишь одна ФЕ:

吃了十五只菜 – 七荤八素 (Досл.: «Съел 15 блюд – семь скоромных, семь вегетарианских». – Чувствовать головокружение).

9. Проблема, заботы (12 ФЕ).

9.1. Сложность решения (2 ФЕ): 小孩吃蹦豆 – 牙关了劲 (Досл.: «Ребенок ест лопнувшие бобы – изо всех сил напряг челюсть» - Столкнувшись с проблемой, с трудом справиться с ней).

9.2. Способ решения (2 ФЕ): 老虎吃蚂蚱 – 碎拾掇 (Досл.: «Тигр ест саранчу – расправляется, кроша на мелкие кусочки» - Справиться с проблемой постепенно).

9.3. Средства решения (1 ФЕ): 老虎饿了逮耗子吃 – 饥不择食 (Досл.: «Тигр, проголодавшись, поймал мышь, чтобы съесть ее – голодному не до привередливости в еде» - При настоятельной необходимости некогда выбрать).

9.4. Причина (6 ФЕ): 老母猪钻进玉米地 – 找吃的棒子 (Досл.: «Свинья влезла на кукурузное поле – ищет кукурузный початок, чтобы съесть его» - Самому навлекать на себя неприятности).

9.5. Сокровенность (1 ФЕ): 背人偷酒吃 – 冷暖自家知 (Досл.: «За спиной у людей втихаря пить вино – теплое или холодное [оно], только ты знаешь» - Заботы каждого человека знает только сам человек).

10. Смерть (7 ФЕ).

10.1. Место (2 ФЕ): 坐着火车吃烧鸡 – 这架骨头走到哪儿扔在哪儿 (Досл.: «Сидя в поезде, есть жареную курицу – куда прибыл, там и бросил кости» - Где человек оказался в конце концов, там и готовится умереть).

10.2. Потенциальная причина (3 ФЕ): 老寿星吃砒霜 – 活得厌了 (Досл.: «Бог долголетия ест мышьяк – жить надоело» - Человек пресытился жизнью, сам ищет смерти).

10.3. Неизбежность (1 ФЕ): 武大郎服毒 – 吃也得死, 不吃也得死 (Досл.: «У Далан принимает яд – и, съев, умрешь, и, не съев, умрешь» - Как ни поступишь – это все равно приведет к гибели).

10.4. Отсутствие страха (1 ФЕ): 患了病不吃药 – 仗着死上哪 (Досл.: «Заболев, не пить лекарство – борясь со смертью, подниматься вверх» - Не отступать перед смертью, не бояться пожертвовать жизнью).

11. Ситуация (4 ФЕ):

11.1. Сходство, аналогия (1 ФЕ): 豁牙子吃肥肉 – 肥 (谁) 也别说肥 (谁) 了 (Досл.: «Беззубый ест жирное мясо – даже слово «жирный» («кто») произнести не может» - Когда у обоих одна ситуация, незачем укорять друг друга).

11.2. Хаос (1 ФЕ): 王八吃西瓜 – 滚的滚, 爬的爬 (Досл.: «Черепаха ест арбуз – катящееся катится, ползущее ползет» - Ситуация хаоса при паническом бегстве).

11.3. Отношение (1 ФЕ): 黑瞎子吃酸枣 – 满不摘核 (在乎) (Досл.: «Медведь ест унаби – не выбирает косточки» - Не принимать близко к сердцу ситуацию).

11.4. Последствия (1 ФЕ): 捏着鼻子吃酸醋 – 不咽也得咽 (Досл.: «Зажав нос, пить уксусную кислоту – и не хочется глотать, а надо» - В неблагоприятной ситуации волей-неволей приходится уступать или терпеть невзгоды).

12. Вещь (8 ФЕ):

12.1. Бесплезность (2 ФЕ): 缸里的金鱼 – 中看不中吃 (Досл.: «Золотая рыбка в котле – годится для того, чтобы смотреть, не годится для еды» - То, о чем идет речь, не имеет применения).

12.2. Количество (1 ФЕ): 老虎吃蚂蚱 – 不够塞牙缝的 (Досл.: «Тигр ест саранчу – недостаточно для того, чтобы заполнить щель между зубами» - Какой-то вещи слишком мало для того, чтобы выполнить функцию).

12.3. Форма-содержание (1 ФЕ): 吃包子光看褶儿 – 不知啥馅儿 (Досл.: «Поедая пирожки, смотреть только на складки – не знать, какая начинка» - Рассматривая вещи и явления, принимать во внимание только внешнюю форму, но не разбираться в ее содержании).

12.4. Цена, значение (2 ФЕ): 猪八戒吃人参果 – 全不知滋味 (Досл.: «Чжу Бацзе ест плод женьшеня – не знает вкуса» - Не понимать толк в вещах, не знать цены вещи).

12.5. Отличие, противоположность (1 ФЕ): 猴吃麻花 – 满拧 (Досл.: «Обезьяна ест хворост – все перепутала» - Полностью противоположный).

12.6. Наличие обладателя (1 ФЕ): 炕圪劳里拾老婆 – 早就有主了 (Досл.: «Лежанку в углу заняла жена» - уже давно есть хозяин) - У некой вещи уже давно есть хозяин).

13. Взаимоотношения (5 ФЕ):

13.1. Агрессор – жертва (1 ФЕ): 没牙老娘吃豆腐 – 正是可口的菜 (Досл.: «Беззубая бабушка ест доуфу – действительно вкусное блюдо» - Человек превратился в объект уничтожения).

13.2. Хозяин – гость (1 ФЕ): 饭店臭虫 – 在家吃客 (Досл.: «Постельный клоп в гостинице – дома ест гостей» - Хозяину нельзя есть пищу гостя).

13.3. Противостояние (1 ФЕ): 耗子啃旗杆 – 吃不躺 (Досл.: «Крыса грызет флажок – не может съесть» - Не смочь устоять перед противником).

13.4. Преступный сговор (1 ФЕ): 吃了白饭就拉屎 – 一根肚肠通到底 (Досл.: «Съел рис и сразу справил большую нужду – через кишку опускается вниз» - Преступный сговор верхов и низов).

13.5. Нормы поведения в обществе (1 ФЕ): 和尚吃猪头 – 破戒 (Досл.: «Буддийский монах ест свиную голову – нарушает обет» - Нарушать общепринятые нормы).

14. Время (1 ФЕ).

В это поле входит одна ФЕ:

清晨吃晌饭 – 早呢 (Досл.: «Ранним утром есть обед – слишком рано». – Слишком рано).

15. Деньги (8 ФЕ):

15.1. Убыток (3 ФЕ): 蜻蜓吃尾 – 自吃自 (Досл.: «Стрекоза ест хвост – сама себя ест» - Самому растрачивать собственные средства).

15.2. Присвоение, обман (4 ФЕ): 猫子吃肉 – 囫囵吞 (Досл.: «Кошка ест мясо – целиком глотает» - Присвоить все деньги).

15.3. Доход-расход (1 ФЕ): 吃五个豆放五个屁 – 来五去五 (Досл.: «Съел пять бобов, выпустил пять газов – вошло пять – вышло пять» - Доход и расход одинаковый).

16. Еда, напитки (2 ФЕ).

Данное поле составляют две ФЕ:

猪八戒掉在泔水桶里 – 得吃得喝 (Досл.: «Чжу Бацзе упал в помойное ведро – придется есть и пить» - Получить возможность поесть и выпить).

嘴上抹石灰 – 白呢 (Досл.: «Заштукатурить рот известкой – поест белого» - Не заплатить после того, как поел, попил).

17. Антропоцентрические абстрактные понятия (7 ФЕ):

17.1. Благополучие (2 ФЕ): 从梢开始吃甘蔗 – 越来越甜 (Досл.: «Есть тростник, начиная с кончика – чем дальше, тем слаще» - Жизненная доля чем дальше, тем лучше).

17.2. Счастье (2 ФЕ): 鸡吃砵糠鸭吃谷 – 各人自有各人福 (Досл.: «Курица ест мякину, утка ест зерно – у каждого человека свое счастье» - Каждый человек счастлив по-своему).

17.3. Бедность (2 ФЕ): 属鸡的 – 现创现吃 (Досл.: «Курица – только увидела, сразу съела» - О человеке, который очень беден, работает на пропитание).

17.4. Норма (1 ФЕ): 傻子吃螃蟹 – 不是味 (Досл.: «Дурак ест краба – не тот вкус» - Неправильный, ненормальный).

Следующей ступенью был анализ семантических связей компонентов данных полей. В ходе исследования установлено, что наиболее

типичными для ФЕ, входящих в данные поля, являются синонимические (21 пара и 3 тройки синонимов). Значительно реже они вступают в антонимические отношения (2 пары и 1 тройка антонимов). Так, например, синонимичными являются следующие ФЕ: 乌龟吃萤火虫 – 独立明白 (Досл.: «Черепашка съела светлячка – в животе посветлело» - Все стало понятно) и 吃了橄榄 – 晓得回味了 (Досл. «Съел оливку – узнал вкус» - Понять все после пережитого). К антонимам можно отнести следующие недоговорки-иносказания: 孙猴子吃仙桃 – 美极了 (Досл.: «Обезьяна Сунь ест райские персики – прекрасно» - Очень хорошо) и 老太太吃槟榔 – 焖 (闷) 拉 (Досл.: «Бабушка ест ареку – тушит (скудно) – Человек впал в хандру).

Заключительный этап исследования – анализ отношений между компонентами различных полей.

Схематически фразеосемантическое пространство недоговорок с лексическим компонентом 吃 можно изобразить следующим образом (рис. 1):

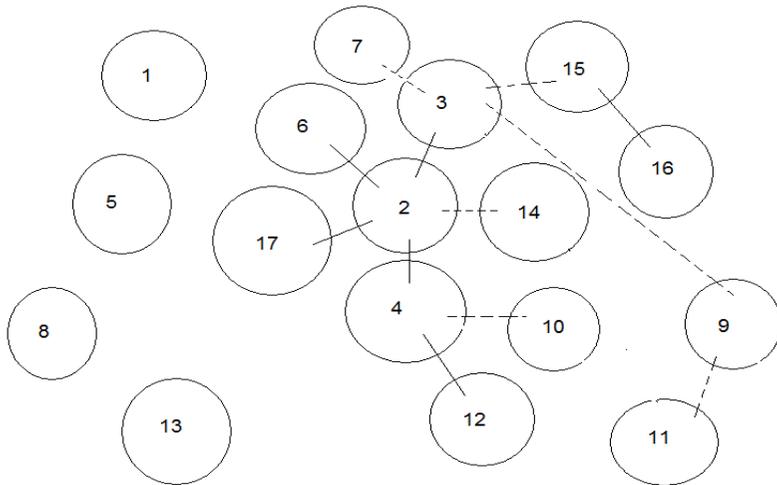


Рис. 1. Фразеосемантическое пространство недоговорок с лексическим компонентом 吃

ФСР маркированы цифрами в соответствии с положением в приведенной выше системе полей. Сплошной линией обозначены равноправные связи ФСР, а прерывистая линия указывает на то, что ядерные семы одного поля находится на периферии значения в другом поле.

Исходя из данной схемы, можно сделать вывод о том, что ФСП «Умственная деятельность», «Воля», «Физическое состояние», «Взаимоотношения» не имеют внешних связей, тогда как остальные ФСП вступают в отношения друг с другом. Больше всего связей с другими полями имеет ФСП «Физическая деятельность».

Таким образом, анализ ФЕ показал, что китайские недоговорки-иносказания с лексемой 吃 являются довольно продуктивными в плане формирования фразеосемантических полей. ФСП, которые они образуют, покрывают различные сферы жизни человека, а также некоторые аспекты его внутреннего мира. Все исследованные недоговорки-иносказания имеют отношение к понятию «Человек».

Наибольшее количество исследованных ФЕ образует поле «Физическая деятельность», на втором месте в количественном отношении находится поле «Качества и свойства человека». Соответственно, данные ФЕ образуют наибольшее количество микрополей. Меньше всего недоговорок с лексическим компонентом 吃 входит в поле «Время», «Физическое состояние», а также «Еда, напитки» и «Воля». Чаще всего в ФЕ в составе полей вступают в синонимические отношения, реже - в антонимические. Больше всего связей с другими полями имеет ФСП «Физическая деятельность», внешние связи отсутствуют у ФСП «Умственная деятельность», «Воля», «Физическое состояние», «Взаимоотношения».

Литература

常用歇后语分类词典. 上海, 2006.

К ВОПРОСУ О ВАРИАТИВНОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗВРАТНОГО МЕСТОИМЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ (на материале художественной прозы XIX–XX веков)

А.Ф. Гайнутдинова

Ключевые слова: возвратное местоимение, личные местоимения, вариативность, многокомпонентные словосочетания с адъективом.

Keywords: reflexive pronoun, personal pronoun, variant use, multicomponent word combination with adjective.

Статьи, посвященные возвратному местоимению в грамматиках и учебных пособиях, комментирующих трудные случаи русского языка, отличаются единообразием и лаконичностью, лишней раз свидетельствуя о том, что нормы употребления местоимения «себя» считаются четко определенными и не подвергаются сомнениям [Краткая русская грамматика, 1989; Розенталь, 2002; Русская грамматика, 1980]. Однако конкретные языковые факты подсказывают необходимость более детального рассмотрения его функционирования и позволяют поставить вопрос о вариативности его использования.

О том, что замена возвратного местоимения «себя» косвенными формами личных местоимений для русского языка не характерна, писал еще А.М. Пешковский [Пешковский, 1938, с. 162]. На отсутствие примеров обратного явления, а именно отказа от личных местоимений в пользу возвратного, ссылаются авторы исследования «Русский язык конца XX столетия» [Русский язык конца..., 2000, с. 298–299]. Тем не менее анализ контекстов, почерпнутых из базы данных Национального корпуса русского языка, позволяет внести коррективы в данные представления.

С одной стороны, следует констатировать отсутствие случаев вытеснения личными местоимениями возвратного, выступающего в функции прямого или косвенного дополнения. С другой – отмечаются случаи параллельного употребления возвратного и личных местоимений в иных синтаксических позициях.

Так, в художественных текстах XIX и XX веков находим 12 случаев замены местоимения «себя» на форму личного местоимения первого лица «меня» в словосочетаниях с пространственными предлогами «вокруг», «около», «подле», «рядом с»:

*Вдруг **рядом со мной** я увидел два открытые глаза, любопытно и упорно меня рассматривавшие* (Ф. Достоевский. Записки из подполья, 1864 [НКРЯ, URL]).

*Я показала на свободное место **рядом со мной**, и он стал пробираться к нам* (Д. Рубина. Уроки музыки, 1982 [НКРЯ, URL]).

Конечно, малое число примеров не позволяет возводить подобную замену в правило, и данные употребления скорее стоит считать индивидуально-авторскими, однако они наглядно демонстрируют саму возможность вариантного употребления, не воспринимаемого носителями языка как ошибочное.

Более обширный материал для исследования включает в себе функционирование местоимений в многокомпонентных словосочетаниях с адъективом, получивших, в частности, большое распространение в современной прессе, но до сих пор обойденных вниманием исследователей, изучавших возвратное местоимение в том или ином аспекте [Шахматов, 1941; Шелякин, 2001; Падучева, 1985; Федорова, 1963].

Речь идет о словосочетаниях типа «новый для себя», в состав которых входят адъективы различной семантики, предлог «для» и местоимение. Интерес представляют те случаи, когда последнее указывает на субъект предложения, так как в них наблюдается конкуренция форм возвратного и личных местоимений:

*Сталлоне репетирует **непривычную для себя** роль отрицательного персонажа – мастера детских игрушек* (Комсомольская правда, 14.02.2003 [НКРЯ, URL]).

*А Александр Абдулов виртуозно сыграл **непривычную для него** роль дурачка* (Труд-7, 21.08. 2007 [НКРЯ, URL]).

Ответить на вопрос, являются ли подобные употребления вариантами и может ли одно из них считаться более предпочтительным, не так просто. С одной стороны, использование в указанных случаях возвратного местоимения поддерживается его соотнесенностью с грамматическим субъектом предложения, с другой стороны, местоимение в данной позиции зависит не от предиката (то есть не указывает непосредственно на совпадение субъекта и объекта действия), а от определения, относящегося к объекту действия, и, таким образом, постановка личного местоимения может трактоваться как сигнал отражения в одной фразе двух ситуаций с разными субъектами: «Актер исполняет какую-либо роль » и «эта роль для него непривычна».

На материале произведений классической русской литературы XIX века попробуем решить, возможно ли разграничить употребление возвратного и личного местоимений в указанном типе словосочетаний, и выяснить, насколько они действительно являются взаимозаменяемыми.

Интересующие нас конструкции встречаем, например, в произведениях Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, А.И. Куприна, при этом у каждого из авторов находим примеры использования в этих случаях как возвратного, так и личных местоимений. Среди последних преобладают формы третьего лица, меньше форм первого лица единственного числа, единичны формы первого и второго лица множественного числа, не встречаются формы второго лица единственного числа. Возвратное местоимение в данных словосочетаниях также преимущественно указывает на субъект третьего лица.

Логично было бы предположить, что использование личного местоимения третьего лица или, напротив, возвратного местоимения отвечает различным художественным задачам произведения, например, отражает разные точки зрения повествования, то есть согласуется с позицией автора или персонажа. Однако сопоставление конкретных примеров не дает каких-либо оснований для подтверждения данной гипотезы. Напротив, примеры употребления возвратного и личного местоимений в предельно схожих контекстах могут свидетельствовать об их семантической равнозначности для автора и взаимозаменяемости. Например, у Л.Н. Толстого:

«Вы мне мерзки, гадки, чужой, да, чужой!» – с болью и злобой произносила она это ужасное для себя слово чужой (Л.Н. Толстой. Анна Каренина, 1878 [НКРЯ, URL]).

«Если мы и останемся в одном доме - мы чужие. Навсегда чужие!» – повторила она опять с особенным значением это страшное для нее слово (Л.Н. Толстой. Анна Каренина, 1878. [НКРЯ, URL]).

Как видно, выбор того или иного местоимения не приводит к изменению смысла сообщаемого, в обоих случаях читатель соотносит местоимение с субъектом действия, не меняется и стилистика фразы - налицо равноценные варианты.

Подобное соотношение можно продемонстрировать и на примере возвратного и личного местоимения первого лица:

<...> друг мой, я открыл ужасную для меня... новость <...> (Ф.М. Достоевский. Бесы, 1871–1872 [НКРЯ]).

<...> узнал я вдруг заведомо по одному письму от приятеля про одну любопытнейшую вещь для себя <...> (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы, 1880 [НКРЯ, URL]).

При этом для всех указанных выше авторов общим является преобладание в рассматриваемых контекстах личных местоимений. Так, в произведениях Л.Н. Толстого на 39 словосочетаний с личными местоимениями приходится 16 с возвратным, у Ф.М. Достоевского – 28 на 7, у И.С. Тургенева – 13 на 2, у А.И. Куприна – 3 и 1 соответственно. Конечно, в каждом отдельном случае преимущественное использование форм личных местоимений можно было бы назвать чертой идиостиля писателя, но прослеживаемая тенденция позволяет предположить, что для исследуемых словосочетаний именно употребление личных местоимений является основным вариантом. Выбор же в пользу возвратного местоимения может подкрепляться несколькими факторами.

Во-первых, последовательное употребление «себя» при адъективе, являющемся частью составного сказуемого (непосредственная связь с

предикатом диктует обязательное употребление возвратного местоимения):

*Подсудимый уже обижается, он **считает** это почти **обидною для себя мелочью** и, верите ли, искренно, искренно!* (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы, 1880 [НКРЯ, URL]).

*Иван Ильич женился по обоим соображениям: он **делал приятное для себя**, приобретая такую жену <...>* (Л.Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича, 1886 [НКРЯ, URL]).

Во-вторых, это возможность выполнения многокомпонентным словосочетанием с адъективом обстоятельственной функции, присущей также наречиям, в словосочетании с которыми используется только возвратное местоимение (при совпадении его с субъектом действия):

*Нехлюдов **неожиданно для себя** покраснел и замялся* (Л.Н. Толстой. Воскресение, 1899 [НКРЯ, URL]).

*Одно есть счастье: кто счастлив, тот и прав», — мелькнуло в голове Оленина, и с **неожиданною для себя силой** он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку* (Л.Н. Толстой. Казаки, 1863 [НКРЯ, URL]).

Следует также отметить, что постановка возвратного местоимения в рассматриваемых словосочетаниях иногда помогает избежать неясности, поскольку личное местоимение третьего лица может указывать не только на субъект действия, но и на его объект, а также отсылать к предыдущей части сложной фразы. Например, употребление «для него» вместо «для себя» в следующем контексте могло бы породить некую двусмысленность, так как могло бы быть отнесено к объекту первой части (Алеше):

*Да и **вовсе не для радости Грушенькиной он влек к ней Алешу**; был он человек серьезный и **без выгодной для себя цели** ничего не предпринимал* (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы, 1880 [НКРЯ, URL]).

Подобную неясность можно констатировать в данной фразе:

*Он уважает врага-горца, но презирает **чужого для него** и угнетателя **солдата*** (Л.Н. Толстой. Казаки, 1863 [НКРЯ, URL]).

О том, что существование двусмысленности осознается автором, говорит использование И.С. Тургеневым в схожих контекстах приложения при личном местоимении третьего лица:

*Он ел мало, больше катал шарики из хлеба – и лишь изредка вскидывал глазами на **Каломейцева**, который только что вернулся из города, где видел губернатора – по не совсем **приятному для него, Калломейцева**, делу <...>* (И.С. Тургенев. Ночь, 1877 [НКРЯ, URL]).

Наряду с факторами, поддерживающими употребление возвратных местоимений, попытаемся наметить и те, которые этому препятствуют.

Прежде всего, это усложненная структура предложения, определяющая «оторванность» местоимения от субъекта и предиката предложения: чем дальше находится местоимение, тем сложнее восстановить его связь с субъектом. В частности, это вхождение многокомпонентного словосочетания с адъективом в ряд однородных определений:

Аратов имел вид человека, который узнал великую, для него очень приятную тайну <...> (И.С. Тургенев. Клара Милич, 1882 [НКРЯ, URL]).

А также в состав различных обособленных оборотов (уточнения, сравнения, обособленного определения), наличие которых обычно указывает на существование еще одной предикативной ситуации, вмещенной в рамки той же фразы:

Она прислушалась радостно к той (как будто неожиданной для нее) прелести <...> (Л.Н. Толстой. Война и мир. Т. 2, 1867–1869 [НКРЯ, URL]).

И довольно долго пришлось мне прожить в остроге, прежде чем я разъяснил себе все такие факты, столь загадочные для меня в первые дни моей каторги (Ф.М. Достоевский. Записки из мертвого дома, 1862 [НКРЯ, URL]).

Приведенный выше пример показателен и потому, что в обособленном обороте личное местоимение первого лица соседствует с притяжательным местоимением первого лица, то есть автор дважды отказывается от использования возвратных местоимений, придавая фразе предельно личное звучание.

Но вот однажды вечером, после несноснейшего для меня дня, отстал я от других на прогулке, ужасно устал и пробирался домой через сад (Ф.М. Достоевский. Маленький герой, 1857 [НКРЯ, URL]).

В последнем примере значение для постановки личного местоимения может иметь также положение уточняющего оборота, а именно его позиция перед субъектом. Нужно отметить, что среди всех рассмотренных случаев возвратное местоимение встречается в этом положении лишь однажды, в произведении Л.Н. Толстого (см. выше).

Кроме того, отсутствуют случаи использования возвратного местоимения в многокомпонентных словосочетаниях с адъективом при категории состояния и страдательном причастии, что согласуется с общими правилами использования возвратного местоимения:

Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке <...> (Л.Н. Толстой. Война и мир. Т. 2, 1867–1869 [НКРЯ, URL]).

Долли была несколько смущена и озабочена тою совершенно новою для нее средой, в которой она очутилась (Л.Н. Толстой. Анна Каренина, 1878 [НКРЯ, URL]).

Таким образом, анализ произведений русской литературы XIX столетия показывает, что возвратное и личные местоимения в многокомпонентных словосочетаниях с адъективом являются взаимозаменяемыми, при этом основным вариантом следует признать употребление личных местоимений, тогда как использование возвратного имеет некоторые ограничения, преимущественно синтаксического порядка.

Обращение к художественным текстам второй половины XX века демонстрирует снижение в них числа многокомпонентных словосочетаний с адъективом и местоимением, указывающим на субъект предложения. Данное явление, во-первых, может объясняться тем, что общий объем текстов XX века уступает объему произведений, созданных классиками XIX века, а во-вторых, способно служить косвенным доказательством в пользу общего движения языка литературы от усложненных, насыщенных синтаксических структур к более простым.

При этом сохраняется общая тенденция к преимущественному использованию в указанных конструкциях именно личных местоимений. Так, в произведениях В. Астафьева отмечаем 7 случаев рассматриваемых словосочетаний с личными местоимениями и при отсутствии таковых с возвратным, аналогичное соотношение наблюдаем в произведениях Д. Рубиной, у Л. Улицкой на 6 использований личных местоимений приходится 3 возвратных, у Л. Петрушевской – по одному употреблению на личное и на возвратное местоимения, у В. Аксенова и В. Маканина встречаем только по одному примеру с личными местоимениями. Несколько выделяются в этом плане произведения В. Распутина и В. Пелевина, в которых находим равное число словосочетаний с личными и возвратным местоимениями (по 4 и по 2 соответственно), что, однако, не меняет представлений о направленности тенденции.

Подводя итог сказанному выше, необходимо еще раз подчеркнуть, что реальные языковые факты свидетельствуют о том, что возвратное местоимение обладает большей гибкостью в плане замены его формами личного местоимения первого лица, чем это принято считать, а более детальное рассмотрение функционирования местоимения «себя» приводит к выводу о его вариативности в том числе по отношению к местоимениям третьего лица.

Литература

- Краткая русская грамматика / отв. ред. Н.Ю. Шведова, В.В. Лопатин. М., 1989.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
- Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938.
- Розенталь Д.Э. Современный русский язык. М., 2002.
- Русская грамматика : В 2 тт. Т. 1 : Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология. М., 1980.
- Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 2000.
- Федорова М.В. Возвратные местоимения в восточнославянских языках // Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж, 1963.
- Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941.
- Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. М., 2001.

Источники

НКРЯ – Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruscorgora.ru>

ФИЛОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИКЛАДНАЯ ФИЛОЛОГИЯ¹

Примерная программа учебной дисциплины

(Для профиля «Прикладная филология»)²

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Прикладная филология» является получение целостного представления о прикладной филологии как складывающейся области филологии и научной дисциплине; освоение базовой категории прикладной филологии – «прикладное исследование»; овладение теоретическими (лингвистическими, литературоведческими) основами разработки методики постановки и решения прикладных задач и проведения прикладных исследований в важнейших сферах человеческой деятельности; обучение применению полученных знаний и умений в процессе теоретической и практической деятельности в области прикладной филологии.

2. Место дисциплины в структуре ПООП бакалавриата

«Прикладная филология» входит в раздел «Б.2. Общепрофессиональный цикл. Вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 032700 – Филология (профиль «Прикладная филология»).

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе, в процессе освоения основ филологии, введения в теорию коммуникации, а также введения в прикладную филологию и иных дисциплин профильной подготовки («Прикладная филология»), философии.

¹ Редакция продолжает публикацию примерных программ учебных дисциплин, вводимых в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 032700 – Филология (бакалавриат). См.: «Филология и человек». 2011. № 2; 2011. № 3.

² Авторы-составители: А.А. Чувакин, докт. филол. наук, проф.; А.И. Куляпин, докт. филол. наук, проф.; Н.В. Бугорская, канд. филол. наук, доц. / под ред. проф. А.А. Чувакина (Алтайский государственный университет).

Место учебной дисциплины – в системе дисциплин профильной подготовки «Прикладная филология».

Данная учебная дисциплина завершает систему теоретических и практических дисциплин по профилю, опирается на опыт, приобретенный студентами в ходе учебной практики и производственной практики по профилю и выполнения курсовых работ, ориентирует студентов на написание выпускной квалификационной работы, связанной с исследованием коммуникации и текста как объектов профессионально-прикладной деятельности филолога, прикладных аспектов языка, литературы, фольклора.

Данная дисциплина связана с дисциплинами гуманитарного цикла, изучающими человека в разных аспектах.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 032700 – Филология:

а) общекультурных компетенций (ОК):

– осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к профессиональной деятельности (ОК-8);

– умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);

б) профессиональных компетенций (ПК):

– способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);

– владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-2);

– способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные положения и концепции прикладной филологии, ее теоретические основы и категориальный аппарат;

Уметь: применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности для решения практических задач в области филологии;

Владеть: навыками решения практических задач в области прикладной филологии

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, или 144 час.; объем аудиторных занятий – 60 час. Ее изучение завершается экзаменом.

Введение (лекции – 4 час.; практические занятия – 6 час.; самостоятельная работа – 16 час.). Языковая, литературная, информационно-коммуникативная жизнь современного общества как объект прикладной филологии. Предмет, задачи, функции прикладной филологии в ее истории и современном состоянии. Теоретические и практические составляющие прикладной филологии. Человек как смысл прикладных филологических исследований. Их сферы и задачи. Прикладная филология, прикладная лингвистика, прикладное литературоведение и их соотношение; система прикладных филологических дисциплин.

Функционально-лингвистические основы прикладной филологии (лекции – 8 час.; практические занятия – 10 час.; самостоятельная работа – 24 час.). Функциональная природа языка. Базовые (коммуникативная, когнитивная) и иные функции языка. Понимание текста как постижение его смысла. Преобразование текста в процессах коммуникации. Проблемы перевода. Риторика и прикладная филология. Функционализм в современной лингвистике как основа прикладных исследований – интегративных филологических и собственно лингвистических.

Эстетические и психологические основы прикладной филологии (лекции – 8 час.; практические занятия – 10 час.; самостоятельная работа – 24 час.). Художественная деятельность, важнейшие принципы ее описания и значимость для прикладной филологии. Теория жанров. Поэтика и семиотика. Рецептивная эстетика. Значение идей современного литературоведения для осуществления прикладных исследований – интегративных филологических и собственно литературоведческих.

Прикладное исследование как базовая категория прикладной филологии (лекции – 4 час.; практические занятия – 10 час.; самостоятельная работа – 20 час.). Программа исследования, ее реализация. Методики сбора информации, постановки и решения прикладных задач: аналитические, экспериментальные, интерпретационные, прогностиче-

ские, проектные и иные. Формальный аппарат прикладных исследований; ресурсы Интернет.

5. Образовательные технологии

Рекомендуемые **образовательные технологии**: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, коммуникативного эксперимента, коммуникативного тренинга, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий.

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями российских и / или зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы специалистов (одна – две встречи в семестр).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

При изучении учебной дисциплины рекомендуются следующие виды самостоятельной работы студентов: подготовка к аудиторным занятиям (в соответствии с планами занятий); выполнение отдельных видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, в том числе: написание эссе и иных письменных работ, выполнение практических заданий, связанных со сбором и анализом фактического и теоретического материала, поиском материалов в Сети, решение задач, разбор конкретных ситуаций (метод кейса), подготовка к выполнению тестовых и творческих заданий и др. Выполнение самостоятельной работы студентами контролируется в ходе практических занятий, на консультациях, при проверке выполненных заданий, в процессе самоконтроля.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь, 2001.

Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфическое в языке). М., 2001.

Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе. История и теория с древнейших времен до наших дней. М., 2006. Семиотика: Антология. М., 2001.

Современная литературная теория: Антология. М., 2004.

б) дополнительная литература:

Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.

Борев Ю.Б. Эстетика. Теория литературы. М., 2003.

Дейк Т.А., ван. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М., 2009.

Земская Ю.Н., Качесова И.Ю., Комиссарова Л.М. и др. Теория текста / под ред. А.А. Чувакина. М., 2010. Гл. IV.

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 2002.

Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2003.

Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997.

Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М., 1990.

Гл. 4.

Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. М., 1999.

Чувакин А.А., Кощей Л.А., Морозов В.Д. Основы научного исследования по филологии. Барнаул, 1990.

Эффективная коммуникация : история, теория, практика. М., 2005.

в) программное и коммуникационное обеспечение

Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией и материалами. Ее содержание должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети вуза (факультета). Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все – в стандартной комплектации для лекций, практических занятий и самостоятельной работы); учебно-методический кабинет с фондами научной, научно-методической литературы и источников; доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).

А.А. Чувакин

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензия на учебное пособие

**Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комисарова, Н.В. Панченко,
А.А. Чувакин. Теория текста / Под ред. А.А. Чувакина.
2-е изд. перераб. и доп. М.: «Флинта : Наука», 2010. 224 с.**

Вышло в свет новое, дополненное и переработанное, издание учебного пособия алтайского лингвистического коллектива «Теория текста».

Не будет преувеличением сказать, что его выход в свет не менее актуален, чем появление первой редакции. Актуальность определяется как необходимостью издания подобного рода в период существования и конкуренции множества направлений, с разных сторон изучающих текст, так и особым вниманием, которое уделяет Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению «Филология» этому объекту.

Присоединяемся к коммуникативной оценке руководителем авторского коллектива объекта теории текста: «Объектом современной теории текста как науки является коммуникативная деятельность человека посредством текста» [Чувакин, 2004, с. 87–98].

Именно коммуникативный взгляд на текст отличает данное учебное пособие, в котором изменилось название (первая редакция имела название «Основы теории текста»). Второе издание утратило первое слово и акцентировало соответствие книги учебному курсу магистерской подготовки филологов «Теория текста». Содержание учебного пособия также подверглось ряду трансформаций, отражающих современную жизнь текста во всех ее функциональных проявлениях.

Такой подход алтайских ученых к тексту не случаен: он обусловлен многолетними плодотворными исследованиями в области текстологии и коммуникативистики всех участников авторского коллектива. Принципиальным для авторов является признание коммуникативной сущности текста, способствующей его открытости «навстречу всем участникам акта коммуникативной деятельности, коммуникатив-

ной ситуации и в целом среде существования текста» [Чувакин, 2004, с. 87–98], и определяющей всю совокупность его функций. Указанная позиция отвечает наиболее современным интерпретациям текста, позволяет вовлекать в исследовательское поле речевые произведения, существующие в разном материале, формате, режиме. Изменение языковой коммуникации обуславливает изменение текста, это в свою очередь требует уточнений и / или изменений лингвистического подхода. Отмеченная последовательность в полной мере отражена в структуре и содержании рецензируемого учебного пособия.

Оно, как и раньше, включает четыре главы, выстроенные в следующих направлениях: ограничение объекта; коммуникативная сущность объекта и ее интерпретации; семиотическая сущность объекта и ее интерпретации; объект и его внешнее окружение.

Первая глава «Текст как объект и предмет лингвистики» включает разделы, посвященные становлению теории текста в языкознании. Особенное внимание уделено русским текстовым теориям давнего и недавнего прошлого. Важно то, что теории текста рассмотрены в книге как часть общих теорий языка, показаны факторы, повлиявшие на формирование текстологических исследований в каждом из периодов, проанализированы теоретические и прикладные последствия процесса рождения новой текстовой реальности в России.

В этой же главе есть раздел, в котором анализируется теория текста как наука, показаны лингвистическая база филологической теории коммуникации, существование текста в микро- и макросреде. Здесь реализован основной принцип организации всей книги – возвратное движение по спирали основных параметров, подходов, техники анализа текста и теорий о нем. Именно поэтому авторы каждый раз рассматривают объект своего исследования сквозь призму организации коммуникации и ее субъектов, одновременно – с позиций отношений текста и языка, обращая внимание на семиотическую природу.

Вторая глава посвящена тексту в его отношении к участникам коммуникации. Здесь, как и в других главах, описывается история существования коммуникативных свойств текста в разных научных парадигмах. Система «говорящий – текст – слушающий» сквозной линией проходит в анализе подходов и направлений. Она достигает своего логического завершения в разделе о коммуникативном изучении текста с позиций порождения и восприятия, дискурсивной (текстовой) личности.

Главным в третьей главе является знаковый характер текста. Рассматривая эту сторону текстовой природы, авторы выбрали удачный

принцип: компоненты организации, свойства текста, типы знаков, функционирующих в его пространстве, анализируются во взаимодействии с ведущими семиотическими теориями. Такой принцип изложения материала удобен для читающего. Он позволяет не только получить информацию о семиотической и семантической природе речевого произведения, вникнуть в историю вопроса, уяснить суть подхода, в рамках которого были предложены те или иные единицы текста, но и понять, как ведущие теории языка преломляются сквозь призму теории текста. Замечательно и то, что для практических заданий в этой, как и в других главах, предлагаются самые разные тексты, включая тексты постмодернизма и неореализма – В. Пелевина, Т. Толстой, Л. Улицкой и т.п.

Четвертая глава книги нацелена на рассмотрение отношений текста в его отношении к реальной и текстовой действительности. Системообразующим принципом предлагаемого анализа является разрабатываемая А.А. Чувакиным и его учениками категория эвокации. Авторами акцентируется важное свойство текста: «Каждый конкретный текст может соотноситься с различными видами действительности или разными их «наборами» [Чувакин, 2004, с. 137]. Из него вытекает принцип эвокационной динамики: «...действительность и тексты, будучи преобразованными в данном тексте, становятся факторами существования данного текста, а он, в свою очередь, превращается в рычаг преобразования действительности и других текстов, в фактор, служащий порождению новых текстов» [Чувакин, 2004, с. 139].

В последней главе учебного пособия излагаются разные версии коммуникативного процесса, в который вовлечен текст: эвокационная, коммуникативной памяти (Б.М. Гаспарова), прагматическая (Н.С. Валгиной и др.), жанровая (М.М. Бахтина, М.Ю. Федосюка и др.), интерпретационная (В.З. Демьянкова, Г.И. Богина, А.В. Бондарко, Н.А. Купиной, А.А. Залевской). Эти подходы, при всем несходстве позиций ученых, объединены принципом двустороннего анализа текста – со стороны порождения и восприятия. Коммуникативная доминанта описания теоретического материала позволяет авторам учебного пособия выстроить четкую линию отношения к рассматриваемым концепциям, сориентировать читателя в разнице /сходстве позиций, ввести собственные варианты моделирования ситуативной интерпретации текста с помощью категории межтекста. Последнее заставляет обратить внимание на мало изученный феномен – аргументативный параметр текста, предложить когнитивную модель аргументативной деятельности, показать ее исследовательский потенциал.

Жизнь текста среди других текстов описывается с позиций диалогического (М.М. Бахтин), эвокационного (А.А. Чувакин и его ученики) подходов, акцентирования парадигматических и синтагматических (В.А. Кухаренко, Т.Н. Никонова, П.А. Манянин); интертекстуальных и гипертекстуальных (О.В. Дедова, Н.Н. Фатеева); деривационных (А.А. Чувакин, Л.Н. Мурзин, Т.Н. Василенко) отношений.

Заключительная часть книги сводит воедино две основные линии – теоретическую (коммуникативную, семиотическую) и прикладную (филологический анализ текста). Сделано это, как и во всем учебном пособии, акцентировано научно и проблемно: в роли заключения выступает методологический раздел «Операциональная ориентированность учения о тексте на интерпретационную деятельность слушающего (читающего)». Название раздела точно соответствует его содержанию. В нем рассматриваются деятельностные варианты филологической рефлексии – герменевтический анализ Г.И. Богина, интерпретативный подход Л.Н. Мурзина, и показан сам путь такой рефлексии.

Книга получилась информативно насыщенной, концентрированно передающей научные идеи в области теории текста, четко обозначающей позиции авторского коллектива, при этом – ясной, понятной по манере изложения. Можно смело утверждать, что текст учебного пособия в полной мере реализует коммуникативные, когнитивные, эмотивные, аргументативные, интертекстуальные, жанровые свойства речевого произведения и займет достойное место в системе «говорящий – текст – слушающий».

Л.О. Бутакова

РЕЗЮМЕ

SUMMARY

П.В. Маркина. Парадигма «Петербург – Петроград – Ленинград» М.М. Зошенко. В статье рассматривается парадигма «Петербург – Петроград – Ленинград» М.М. Зошенко. В работе прослеживаются метаморфозы петербургского мифа в русской культуре. В своем творчестве М.М. Зошенко определяет специфику города на Неве в отношении к городам-двойникам (Москве, Полтаве).

P.V. Markina. Paradigm «Petersburg – Petrograd – Leningrad» of M.M. Zoshchenko. Paradigm «Petersburg – Petrograd – Leningrad» of M.M. Zoshchenko is considered in the article. In this work they trace metamorphosis of Petersburg's myth in Russian culture. In M.M. Zoshchenko's early creativity defines specificity of city on the Neva river in the relation to cities-doubles (Moscow, Poltava).

Т.В. Федосова. Репрезентация времени в постмодернистском дискурсе. В работе рассматриваются основные тенденции в литературе постмодернизма и исследуются основные характеристики категории времени и ее отражение в литературных произведениях современных авторов. Современные писатели-постмодернисты экспериментируют со временем и показывают хаотичную и вневременную природу существования в настоящем. Авторы нарушают логическую последовательность времени / места и причинно-следственные связи в тексте. Авторы придают особое значение идее времени, временным сдвигам, хаотичности времени.

T.V. Fedosova. Representation of Time in Postmodern Literature. This paper considers key tendencies in postmodern literature and explores the concept of time in the literary works of postmodern authors. Writers experiment with time and explore the fragmented, chaotic, and atemporal nature of existence in the present. Almost all of these characteristics result from the postmodern philosophy which is oriented on the conceptualization of time. In postmodernism, change is fundamental and flux is normal; time is presented as a construction. Shifts in time become a remarkable feature of postmodern literary work. Due to the dissolution of time / space relations, where past, present, and future are interwoven, the effect of time chaos is being created in the novels, which contribute to the authors' individual style.

Г.В. Кучумова. Немецкоязычный роман 1980–2000 годов: новые формулы неспешности. В пространстве современной культуры конца XX века скоростные модели движения сменяются новыми моделями неспешности. Попытку замедлить время и таким образом пробиться к осмысленному бытию

предпринимают герои романов немецких авторов К. Белдля, В. Генацино, С. Надольного.

G.V. Kuchumova. German Language Novel of 1980–2000 : New Formulae of Deliberateness. In the cultural space of the end of the XX century speed movement patterns were replaced by new patterns of deliberateness. Heroes of novels by German authors K. Bödl, W. Genazino, S. Nadolny try to slacken the time and win forward to meaningful existence.

И.К. Феоктистова. «Легенда о Лиханове» в сборниках А.А. Мисюрева: мифологические мотивы образа народного заступника. В данной статье на основе системного анализа мотивов впервые целостно рассматривается цикл повествований о народном сибирском мстителе Лиханове. Проанализированы мифологические мотивы образа героя.

I.K. Feoktistova. “The Legend of Likhanov” in Collections by A.A. Misurev : Mythological Motifs of an Image of the National Defender. In this article the cycle of narrations about national Siberian avenger Likhanov for the first time is completely considered on the basis of the system analysis of motives. The mythological motifs of the hero’s image are analyzed.

М.А. Демчинова. «Собирание и изучение алтайских народных песен». В статье рассматриваются вопросы собирания и изучения алтайских народных песен начиная с середины XIX века по настоящее время. Большое внимание уделено трудам В.В. Радлова, А.В. Анохина, Н.П. Дыренковой. Проанализировано монографическое исследование алтайского фольклориста Т.С. Тухтенева, который впервые провел большую и ответственную работу над сбором, систематизацией, публикацией и исследованием алтайских народных песен. Сделана попытка толкования значений народных терминов, обозначающих разновидности народных песен со ссылкой на существующие в науке данные. В краткой обзорной форме сказано об особенностях исполнительского мастерства алтайских певцов и о результатах современных фольклорных экспедиций, проведенных Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова совместно с Институтом филологии СО РАН и Новосибирской консерваторией им. М.И. Глинки в 80-90-е годы прошлого столетия.

M.A. Demchinova. The Collection and Study of Altai Folk Songs. The questions under consideration in the article will be the collection and study of the Altai folk songs, starting from the middle of the nineteenth century until the present. Considerable attention will be given to the works by V.V. Radlova, A.V. Anohina, and N.P. Direnkova. Also under examination will be the work by T.S. Tuhteneva, who first carried out wide scale and vital work over the collection, systematization, publication, and research of Altai folk songs. It will be endeavored to interpret important folk terms in designated varieties of folk songs, with reference to their relevance to scientific facts. There will be a short overview of the features of the art of performing Altai folk songs, and the results of modern folklore gathering expeditions undertaken by S.S. Surazkova Institute of Altai in cooperation with the SO RAN Institute of Philology and M.N. Glinky Novosibirsk Conservatory in the last eighty to ninety years of the last century.

Е.Ф. Нечаева. Оппозиция «Я – Другой» как лингвофилософская проблема. В статье речь идет об оппозиции «Я – Другой» в качестве философской проблемы в тесном взаимодействии с лингвистикой. Одним из ключевых вопросов философии является вопрос самоидентификации и самоактуализации человеческой личности посредством отношения «Я – Другой». Ответы на вопросы, поставленные философами, могут быть найдены в языковой плоскости, в особенностях того или иного языкового сознания, в тех понятиях о добродетелях и пороках, которые оно устанавливает.

E.F. Nechaeva. Opposition “I – The Other” as Linguistic- Philosophical Problem. This article covers the opposition “I – The Other” as a philosophical problem in a close interaction with linguistics. One of the key philosophical issues is the item of self-identification and self-actualization of human being by means of relation “I – The Other”. Questions raised by philosophers can be answered within the linguistic plane, in the particular/distinctive/peculiar features of either linguistic consciousness, in the concepts (ideas) of virtue and vice it establishes.

М.К. Тимофеева. Однозначные тексты с двойственной семантикой. Семантика рассматриваемых текстов включает в себя две противопоставленные части, но понимается однозначно и ее двойственность не устранима без существенного обеднения. Формулируется гипотеза о функции таких текстов в языке. Обсуждаются типы текстов с двойственной семантикой, в частности, иронические тексты.

M.K. Timofeeva. Unambiguous Texts with Twofold Semantics. Semantics of considered texts includes two opposed parts but is unambiguous, and its duality cannot be eliminated without substantial impoverishment. The article forms hypothesis about their role in language and discusses different texts of this kind. Special attention is devoted to verbal irony.

Н.М. Татарникова. Анализ коммуникативных стратегий как способ изучения стилевой черты. В статье рассматривается возможность исследования стилевой черты функционального стиля с помощью анализа коммуникативных стратегий. Обсуждаются направления развития функциональной стилистики и когнитивной лингвистики, устанавливается соотношение их базовых понятий и приводятся причины, по которым представляется целесообразной транспозиция метода из одной исследовательской области в другую.

N.M. Tatarnikova. Analysis of Communicative Strategies as Method of Study of Stylistic Feature. The article is devoted to a possibility of researching the stylistic feature of functional style applying the method of communicative strategies analysis. The author considers directions for the development of functional stylistics and cognitive linguistics, correlates with their fundamental conceptions, gives reasons why it is expedient to transfer this method to another field of research.

Е.Н. Батурина. Особенности повествовательной структуры и контекстные репрезентации концепта ЧЕЛОВЕК в повести «Белые ночи» Ф.М. Достоевского. В данной статье предпринята попытка анализа контекстов, содержащих лексику человек и ее дериваты, в повести

Ф.М. Достоевского «Белые ночи». Данные контексты, по-нашему мнению, представляют собой вербальные репрезентации концепта ЧЕЛОВЕК в художественных и публицистических произведениях писателя.

E.N. Baturina. The Peculiarities of the Narrative Structure and the Contextual Representations of the Concept of a Man in Fyodor Dostoyevsky's Novel «The White Nights». In the article there has been made an effort to analyze the contexts having the lexeme of a Man and its derivatives in Fyodor Dostoyevsky's novel «The White nights». These contexts, to our mind, are considered to be the verbal representations of the concept of a Man in belles-lettres and publicistic works of the writer.

Т.Ф. Извекова Место ключевых концептов языка в формировании национального сознания и особенности их функционирования в художественном дискурсе. Тенденция к взаимосвязности и взаимопроникновению различных отраслей и аспектов научного знания – одна из основополагающих тенденций современной науки. Лингвокультурология, описывающая корреспонденции языка и культуры, «в синхронном их взаимодействии» в первую очередь исследует отдельные характерные для данного языка концепты, обладающие двумя свойствами: они являются «ключевыми» для данной культуры (в том смысле, что дают «ключ» к ее пониманию) и вызывают трудности при переводе на другие языки. Кроме безэквивалентной лексики, в ряду формирующих культуру и национальное сознание находятся слова, понимание которых отличается у носителей разных языков в связи с разницей культур, бытового уклада, религий, территориального положения и т.д. Концепт, отражаясь в сознании носителей языка, фиксируется в различных текстах, а в первую очередь в художественных. Художественные тексты, со своей стороны, тоже формируют культурное сознание читателей.

T.F. Izvekova. The Place of Key Linguistic Concepts in the Formation of National Consciousness and the Particularities of their Functioning in a Fiction Discourse. The tendency to coherence and interpenetration of different fields and aspects of the scientific knowledge is one of the basic tendencies of the modern science. Linguaculturology describing the language and culture correspondences “in their synchronized interaction” first investigates the separate concepts typical for the given language which possess two features: they are “key” features for the given culture (in the sense that they give “a key” to their understanding) and the appropriate words are badly translated into other languages. Besides the nonequivalent vocabulary the words the understanding of which differ within native speakers stand in a number of words which form the culture and national consciousness because of the culture differences, morals and manners, territory position and etc. The concepts finding its reflection in the consciousness of a native speaker is fixed in different texts, especially in fiction. Fiction texts from their side form the cultural consciousness of the readers.

В.Н. Карпухина. Аксиологический аспект исследования перевода как творческого процесса. В статье рассматриваются проблемы творческого характера деятельности переводчика текстов художественной литературы.

Переводческое творчество реализуется в ситуациях переводческого комментария к художественному тексту, а также в ситуациях выбора аксиологических стратегий интерпретации текста, используемых переводчиком.

V.N. Karpuhina. The Axiology of Translation as a Creative Activity. The article deals with the creative activity of a fiction translator. The creativity of the translator is revealed in the translator's commentaries to a fiction text and in the axiological strategies choice in the process of text interpretation.

Е.И. Рогалева. Контекстуальная семантизация фразеологизмов в учебном словаре. Охарактеризовано своеобразие контекстуальной семантизации фразеологических единиц в коммуникативно-ориентированном учебном словаре. Представлены способы лексикографического описания коммуникативно-прагматических свойств фразеологизма во внутрифразовом, фразовом и сверхфразовом контекстах. Приведены примеры текстовых иллюстраций.

E.I. Rogalyova. Contextual Interpretation of Idioms in the Training Dictionary. The author characterizes the peculiarities of contextual semantic interpretation of idioms in the communication-oriented training dictionary. The author provides the modes of lexicographic description of communicative and pragmatic qualities of an idiom within inter-phrasal, phrasal and supra-phrasal contexts. They are illustrated textually.

С.А. Свиридов. Художественная гипнология в романах И.С. Тургенева: предсонье и сон. В статье предлагается комплексный подход к изучению романов И.С. Тургенева как художественной системы, одной из типологических примет которой выступает онейросфера, где находит преломление творческое мировидение писателя, отражается его понимание метафизической природы духовной жизни человека. Рассмотрены наиболее частотные элементы художественной гипнологии Тургенева: сон и предсонье.

S.A. Sviridov. Artistic Hypnology in Novels by Ivan Sergeevich Turgenev: Predream and Dream. In this article we offer the complex approach to Ivan Turgenev's novels studying as one artistic system. One of these system typological traits is oneirosphere, where author's world-view finds its projection, his idea of human spiritual life's metaphysical character can be found out. We examined the most frequent elements of Turgenev's artistic hypnology: dream and predream.

М.Р. Бобохонов. Психологические доминанты повести Тагай Мурада «Сумерки, когда заржал конь». В статье выявляются психологические доминанты при создании национального характера героя, отмечается комплекс вербальных и невербальных средств, многофункциональность художественной детали.

M.R. Bobohonov. Psychological Dominants of Tagay Murad's Story «Twilight When the Horse has Begun to Neigh». In the article psychological dominants come to light at creation of the national character of the hero. The complex of verbal and nonverbal means, multifunctionality of an art detail are marked.

О.В. Кошечева. Онтогенез коммуникативной компетенции: речевой аспект. В статье рассматриваются актуальные вопросы становления коммуникативной компетенции и жанрового мышления в процессе онтогенеза на примере речевого жанра «рассказ». Выявляется специфика использования рассказа детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Особое внимание уделяется изучению прагмалингвистического компонента.

O.V. Kosheeva. Ontogenesis of the Communicative Competence: Speech Genre Aspect. This article examines topical questions of the formation of communicative competence and genre thinking in the process of ontogenesis by the example of the speech genre “story”. The author of the article reveals the specific character of the story’s usage by the children of preschool and primary school age. A special attention is paid to the study of the pragmalinguistic component.

Т.С. Бережная. Экспериментальное исследование восприятия поликодовых рекламных текстов прошлого современными носителями языка. В статье описан проведенный автором психолингвистический эксперимент с использованием методики семантического дифференциала на материале образцов рекламных плакатов и рекламы в прессе начала XX века. Полученные в ходе эксперимента результаты позволяют определить специфику механизмов восприятия поликодового рекламного текста и его составляющих (визуальной и вербальной) современным носителем русского языка.

T.S. Berezhnaya. Experimental Research of the Perception of the Advertising Polycode Texts of Past by Contemporary Native Russian Language Speakers. The psycholinguistic experiment with using technique of semantic differential is described in the article. As the material for research the advertising boards and advertisements in the magazines of the beginning of XX century were used. The results of experiment allow determine the specificity of perception mechanisms of polycode advertising text and its components (visual and verbal) by contemporary native speakers of Russian.

И.В. Ахмадуллина. Полевые связи китайских недоговорок-иносказаний, содержащих лексический компонент 吃. В данной статье проводится систематизация китайских недоговорок-иносказаний с помощью метода фразеосемантического поля. Объект исследования – 140 недоговорок-иносказаний с лексическим компонентом 吃 (есть). На основе компонентного анализа значения данные фразеологические единицы распределены по нескольким фразеосемантическим полям. Произведен анализ семантических связей компонентов данных полей, а также рассмотрены отношения между компонентами различных полей.

I.V. Akhmadullina. Field Relations of Chinese Xiehouyu Containing Lexical Component 吃. In this article the Chinese xiehouyu are systematized by the use of fraseosemantic field method. The object of the research is 140 xiehouyu containing lexical component 吃 (to eat). On the basis of componential analysis the phraseological units were divided into some fraseosemantic fields. Then semantic

relations between the components of the fields were analyzed. Relations between the components of different fields were researched after that.

А.Ф. Гайнутдинова. К вопросу о вариативности в использовании возвратного местоимения в современном русском языке (на материале художественной прозы XIX–XX веков). В статье освещается проблема вариативности в использовании возвратного местоимения «себя» в современном русском языке. Подробно рассматриваются случаи конкуренции форм возвратного местоимения и личных местоимений в многокомпонентных словосочетаниях с адъективом на материале произведений русской литературы XIX и XX веков.

A.F. Gaynutdinova The Variant Use of the Reflexive Pronoun in the Modern Russian Language (based on the texts of Russian literature of the XIX–XX centuries). The present article deals with the problem of variability in the use of the reflexive pronoun "myself" in modern Russian. The reflexive and personal pronoun's concurrence is considered in detail in the aspect of the multicomponent word combinations with adjective on a material of the Russian literature of the XIX–XX centuries.

НАШИ АВТОРЫ

**АХМАДУЛЛИНА,
Инна Вадимовна**

– преподаватель Хабаровского пограничного института ФСБ РФ.
E-mail: ivalga@mail.ru

**БАТУРИНА,
Евгения Николаевна**

– кандидат филологических наук, доцент Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии (Биробиджан).
E-mail: murzilka240163@mail.ru

**БЕРЕЖНАЯ,
Татьяна Сергеевна**

– соискатель Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
E-mail: bersih@yandex.ru

**БОБОХОНОВ,
Мавлон
Рахматиллаевич**

– аспирант Самаркандского государственного университета (Самарканд, Узбекистан).
E-mail: graf_edmond@yahoo.com

**БУТАКОВА,
Лариса Олеговна**

– доктор филологических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
E-mail: larisabut@rambler.ru

**ГАЙНУТДИНОВА,
Аида Фирдинатовна**

– ассистент Казанского (Приволжского) федерального университета.
E-mail: aido4ka@inbox.ru

**ДЕМЧИНОВА,
Мира Айлчыновна**

– кандидат филологических наук, старший научный сотрудник ГНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им С.С. Суразакова» (Горно-Алтайск).
E-mail: demchinova-mira@rambler.ru

- ИЗВЕКОВА,
Татьяна Федоровна** – кандидат филологических наук, доцент Новосибирского государственного медицинского университета.
E-mail: interNSMU@gmail.com
- КАРПУХИНА,
Виктория Николаевна** – кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного университета (Барнаул).
E-mail: vkarpuhina@yandex.ru
- КОЩЕЕВА,
Ольга Валерьевна** – аспирант Саратовского государственного университета.
E-mail: olga-kosheeva@yandex.ru
- КУЧУМОВА,
Галина Васильевна** – кандидат филологических наук, доцент Самарского государственного университета.
E-mail: gal-kuchumova@mail.ru
- МАРКИНА,
Полина Владимировна** – кандидат филологических наук, докторант Алтайского государственного университета (Барнаул).
E-mail: pvmarkina@mail.ru
- НЕЧАЕВА,
Евгения Феликсовна** – кандидат филологических наук, доцент Московского педагогического государственного университета.
E-mail: nechaeva@yandex.ru
- РОГАЛЕВА,
Елена Ивановна** – кандидат педагогических наук, доцент Псковского педагогического университета им. С.М. Кирова.
E-mail: cambala2007@yandex.ru
- СВИРИДОВ,
Станислав
Александрович** – аспирант Алтайской государственной педагогической академии (Барнаул).
E-mail: samas84@mail.ru.

**ТАТАРНИКОВА,
Наталья Михайловна**

– кандидат филологических наук, доцент Братского государственного университета.
E-mail: tatarnikova.nm@gmail.com

**ТИМОФЕЕВА,
Мария Кирилловна**

– доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск).
E-mail: mtimof@inbox.ru

**ФЕДОСОВА,
Татьяна Викторовна**

– кандидат филологических наук, доцент Горно-Алтайского государственного университета.
E-mail: tatyana.fedosova@gmail.com

**ФЕОКТИСТОВА,
Ирина Константиновна**

– кандидат филологических наук, доцент Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского.
E-mail: irina_feo56@mail.ru

**ЧУВАКИН,
Алексей Андреевич**

– доктор филологических наук, профессор Алтайского государственного университета (Барнаул).
E-mail: chuvakin@inbox.ru

Журнал распространяется по подписке
Подписной индекс 36795
в каталоге «Газеты. Журналы» Агентства «Роспечать»

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС77-30179 от 02.11.2007 г.

Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (редакция февраль 2010)». Согласно решению Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 10 октября 2008 года № 38/54, с 10 октября 2008 года к изданиям, рекомендованным для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций, относятся все издания, включенные в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Сдано в набор . Подписано в печать 30.09.2011. Формат 60×84/16. Гарнитура Times New Roman. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12. Тираж 500 экз. Заказ № .

Отпечатано в типографии Алтайского государственного университета:
г. Барнаул, ул. Димитрова, 66

© Издательство Алтайского государственного университета.
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.

Требования к оформлению присылаемых в редакцию материалов

1. Редакция журнала принимает статьи объемом до 0,75 авторского листа (30 тыс. знаков с пробелами), научные сообщения – до 0,4 авторского листа (16 тыс. знаков с пробелами), другие материалы – до 0,15 авторского листа (6 тыс. знаков с пробелами).
2. Электронные материалы должны быть представлены в формате Word for Windows. Интервал точно 12 пт (полуторный); шрифт – Times New Roman, кегль 12. Для знаков, отсутствующих в шрифте Times New Roman (для транскрипции, иноязычных примеров и т.д.), используются стандартные распространенные шрифты (Symbol, Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93). При использовании оригинальных шрифтов их файлы (формат *.ttf – True Type Font) необходимо выслать вместе со статьей приложением к электронному письму. Для создания схем, графиков, иллюстраций используются программы стандартного пакета Microsoft Office; графика должна быть внутри файла.
3. Примеры в тексте статьи оформляются курсивом.
4. Примечания к тексту оформляются в виде постраничных сносок и имеют постраничную нумерацию.
5. Библиографическое описание изданий оформляется в соответствии с действующим ГОСТом Р 7.0.5–2008 и приводится в конце работы по алфавиту. Источники на иностранных языках располагаются после источников на русском языке.
6. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках, где указываются фамилия автора, год издания, цитируемые страницы. Например: [Виноградов, 1963, с. 46]. Если в библиографии упоминается несколько работ одного и того же автора и года, то используется уточнение: [Горелов, 1987*a*]. В списке литературы делается такая же пометка.
7. Неосновной текст, предвещающий статью (научное сообщение), состоит из следующих компонентов: код по УДК и код по ББК; название (на русском и английском языках), и.о. фамилия автора (на русском и английском языках), аннотации на русском и английском языках (не более 250 слов каждая), ключевые слова на русском и английском языках (не более 6-ти на каждом языке).
8. Статьи следует направлять по адресу: 656049 г. Барнаул, ул. Димитрова, 66, Алтайский государственный университет, филологический факультет, ауд. 405-а, отв. секретарю журнала Василенко Татьяне Николаевне. Почтовые отправления в обязательном порядке дублируются по электронной почте. Электронная версия отправляется вложенным файлом по адресу: soveto1@filo.asu.ru (В разделе «Тема» просим указать: «В редакцию журнала»). К статье прилагается справка об авторе или авторах: фамилия, имя, отчество, место работы (полное название организации с указанием адреса и почтового индекса), должность, ученая степень, ученое звание, служебный и домашний адрес, номера телефонов / факса, электронная почта. **Наличие адреса электронной почты обязательно!**
9. Статьи, оформленные с нарушением приведенных правил или плохо отредактированные, редакцией не рассматриваются.

Примечания: 1. Научные тексты, присылаемые аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук, должны отражать основные результаты исследования, соответствовать жанру научного сообщения и сопровождаться рекомендацией кафедры, при которой выполняется диссертационная работа (оформляется в виде выписки из протокола заседания кафедры), и отзывом научного руководителя (с оценкой актуальности темы исследования, новизны полученных результатов, их теоретической и практической значимости) и рекомендацией к печати в журнале «Филология и человек». Сопроводительные документы (скрепленные печатью организации) сканируются и высылаются в редакцию по электронной почте или передаются по тел. / факсу (3852)366384.

2. **Обращаем внимание, что указанный в п. 1 объем научного текста учитывает все его компоненты (от названия до примечаний и источников материала включительно).**

3. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.